

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ

РОМАН*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Урал встретил Бекетова трескучими морозами, заснеженными сосняками, угрюмыми городами, в которых люди были заняты вековечным делом, — плавил руду, лили металл, строили тяжеловесные машины. Терпели, роптали, продолжая свинчивать болтами и гайками Европу и Азию, притягивать стальными канатами казахстанские степи, приваривать кромку Ледовитого океана. Бекетову казалось, он чувствует, как хрустит от напряжения древний гранит, туманится жерло Ганиной ямы, благоухают иконы в Храме на Крови.

Урал — таинственное место в России, где топор дважды рубил древо русской истории. Умер “белый” православный монарх, унеся в земную щель своё “белое” царство. Родился уральский демон, кинувший на плаху великое “красное” царство, разбросавший по просторам Евразии её четвертованное тело.

Бекетов смотрел на запорошенные снегом гранитные лбы, и наклонная башня Невьянска казалась издалека лёгким пером, упавшим из хвоста серебряной птицы.

Нижний Тагил выглядел неостывшим слитком. В угарной дымке, с железными облаками и громадными трубами, он изрыгал сизый пепел, в котором переливалось и меркло большое красное солнце. “Уралвагонзавод” предстал нескончаемой чередой корпусов, сгустками окаменелого дыма, лязгом стальных путей, проблеском высоковольтных линий. И внезапно из этих утомлённых нагромождений, из дымных клубов, из тусклых отблесков сварки вылетал танк. Упругий, звенящий, он сиял, как стекло, в ликующем блеске морозного солнца. Рвался в даль снегов, качал пушкой, сверкал гусеницами, оставляя ребристый след, гаснущие трели и рокоты.

У заводской проходной с изображениями советских орденов Бекетова встретил директор. Провёл сквозь электронные турникеты, мимо вооружённой охраны.

— С прибытием на Урал, Андрей Алексеевич, — приветствовал Бекетова директор. Он был в чёрном пальто с собольим воротником, без шапки, с короткими пепельными волосами. Его крупное лицо состояло из плоско-

* Журнальный вариант. Продолжение. Начало в №6 за 2013 год.

стей, квадратов и ромбов, как на портретах кубистов. Было оно того же цвета, что и закопченный кирпич корпусов, тусклый металлический дым, посыпанный окалиной снег. Он был сотворён из тех же материалов, что и вверенный ему завод. Был странным подобием танка с его ребристой броней.

— Предлагаю посмотреть производство, а потом соберём у меня в кабинете руководство завода, и вы сделаете своё сообщение.

— Можно будет прокатиться на танке? — шутливо спросил Бекетов.

— Почему бы и нет? Танкодром рядом с заводом.

Из раскалённого морозного света с мерцающей солнечной пылью они шагнули в дверь, которая сомкнулась за ними с лёгким хлопком. Оказались в тёплом смуглом пространстве, где пахло металлом, краской, озоном электросварки, сладковатыми лаками, бензином. И чем-то ещё — угрюмым, могучим и вечным. Так пахнут вулканы, окутанные железным туманом. Так пахнут прибрежные скалы, в которые бьёт вековая морская волна. Должно быть, — подумал Бекетов, — именно так пахнет государство.

Цех был огромный, уходящий в дымную даль. Двигались тёмные глыбы, скользили лучи, бегали едкие огоньки. И глухо ухало, тяжело звенело, словно расхаживали невидимые великаны.

Бекетов шёл вдоль конвейерной линии, жадно наблюдая, как из бесформенных масс, бенгальских огней, мускульных усилий людей рождается танк.

Корпус, напоминающий железную пустую коробку. Полости, пазы, дыры будущих люков. Голова рабочего выглядывает из проёма, словно человек замурован в стальную темницу. Другой рабочий, по пояс в люке, похож на кентавра с тяжёлым туловом, готового скакать с металлическим лягом. Третий рабочий вонзает электрод в бортовину, чертит огненный иероглиф, будто ставит тавро на дышащий шершавый бок.

В корпус вживляют детали: литые катки, сверкающие драгоценные втулки. Натягивают зубчатые гусеницы. Увеличивают сложность корпуса, готовят к будущей кромешной работе. Взрывы, горящая броня, растерзанные танкисты — это всё впереди.

Рабочий воздел руки, словно взывает к Богу. И с неба спускается к нему могучий танковый двигатель. Погружается на цепях в тёмное чрево, светит оттуда грозно и тускло. А над ним колдуют, словно в разъятую грудь пересаживают сердце. Вживляют, окропляют “живой” и “мёртвой” водой.

Башня с пушкой плывёт над конвейером: громадная стальная коврига, могучий железный хобот. Рабочий пританцовывает на корпусе, манит башню к себе. Громада опускается, бесшумно, мягко, прилипает к корпусу, и танк мгновенно обретает свою устрашающую мощь, чудовищную устремлённость. Пушка литая, с липким отсветом смазки, с чёрным жерлом, из которого дунет рыжее пламя, умчится снаряд, поднимая до неба гору земли и дыма.

В башне монтажники прокладывают жгуты, устанавливают гироскопы, драгоценные стекла прицелов, антенны, радары. Насыщают стальную купол изящной и хрупкой оптикой, излучателями. Соединяют танк с космосом, с командными пунктами, со всей ревущей стальной армадой, несущейся среди взрывов. Луч прицела находит незримую цель, наводит ракету, превращая вражеский танк в груды горячей брони. Другой молниеносный луч ловит в небесах самолёт, срезает ракетой пикирующий штурмовик. Тяжеловесный и грузный танк наделяется множеством глаз, нервной системой, которая преобразует машину в чуткое существо, перелетающее овраги и ямы, бьющее врага влёт.

Танк наращивает плоть, набухает мускулами. Бегают огненные змейки сварки, стекают с башни золотые ручьи. В глазницах блестят стеклянные призмы, телевизионные трубки, зрачки дальномеров. На танк навьючивают бруски активной брони. Башня становится клетчатой, как черепаха. При полёте чужого снаряда активная броня гасит убийную силу. Танк снаряжают для боя — он мчится, окружая себя дымовой завесой, затмевая прицелы врага. Окутывается непроницаемой пылью, в которой сторает чужая ракета. Громадный, грохочущий, как стальной водопад, гибкий, танцующий, как балерина, танк блещет пламенем. Крутит башней. Огрызается огнём пулемётов. Громит снарядами опорные пункты противника. Утюжит гусеницами доты.

Последние касания рук, похожие на крестные знамения. Механик-водитель погружается в люк. Взыграл, взревел двигатель. Танк, в трепете, в дрожи, сошёл с конвейера. Открылись ворота цеха — солнце, белизна, волнистая даль танкодрома. Машина, ликуя, вся в стеклянном блеске, в голубых дымах, рванулась на волю и пошла, качая пушкой. Убивать, умирать, побеждать — в грозный распахнутый мир, навстречу великим опасностям.

Бекетов провожал глазами машину, молился о ней, как о родном существе. Танк Т-90 М, лучший в мире, шедевр “Уралвагонзавода”.

После осмотра цеха в кабинете директора собрались производственники за длинным переговорным столом, на который секретарша поставила чашечки душистого чая, вазочки с конфетами. Бекетов с наслаждениемпил чай. Со стены над директорским столом смотрел с портрета президент Стоцкий. Казалось, взгляд его насмешлив, и он видит насквозь Бекетова, предрекает провал его замыслам.

Бекетов подробно рассказал производственникам о сложившейся в Москве ситуации. О митингах на Болотной площади и проспекте Сахарова. Об “оранжевой революции”, которая началась в России и грозит разгромом государства, как это было и в далёком феврале 17-го года, и в недавнем августе 91-го. Он рисовал политическую картину, давал характеристики оппозиционным лидерам, указывая на их связь с западными политическими центрами. В конце выступления призвал уральцев поддержать Чегоданова, готовить оборонщиков к поездке в Москву, чтобы принять участие в предвыборном митинге Чегоданова.

— Коллеги, наступил критический момент. Нам нужно спасти государство. Урал был всегда опорой страны, её становым хребтом. Уверен, что и теперь уральцы будут решать судьбу государства.

Производственники молчали, отводили глаза, вздыхали. Бекетов чувствовал, что его слова не тронули их сердец, насторожили, обеспокоили, вызвали отчуждение. Наконец, заговорил директор со своим ребристым лицом, в которое завод насыпал окалины, надышал дымом, оттиснул отпечаток танковой брони.

— Андрей Алексеевич, вы нас зовете в политику. Но мы здесь не политики, мы производственники, которые тянут на себе этот завод. Выдирают его из долгов, из разрухи, из той дыры, в которую нас затолкали. Вы видели сегодня наш танк. На нём, помимо гусениц, жилы наши намотаны. Такого завода, как наш, нет больше в мире. Он и есть государство. Наш завод Вторую мировую войну выиграл, и мы его здесь, на Урале, спасаем, как он когда-то страну спас. В политику мы не пойдём, потому что не понимаем её и не ждём от неё добра. В Москве — большая политика, а у нас на Урале — большие труды, — сказав это, директор посмотрел в окно, где туманились кирпично-серые корпуса, валил из трубы сизый дым и что-то постанывало, переливалось и двигалось. Словно звало директора скорее вернуться в цех, где под сводами на цепях двигалась башня с пушкой.

Бекетов продолжал убеждать:

— Один крупный советский оборонщик, директор космического завода, сказал мне. “Мы, технократы, в Советском Союзе могли на заводах сделать всё, что не противоречило законам физики. Мы занимались техникой, а политику поручили членам Политбюро. И они, политики, разрушили космическую отрасль страны, всю великую советскую техносферу”. И теперь, коллеги, я снова слышу: “Пусть политикой занимаются политики, а мы будем заниматься техникой”. И опять мы проиграем страну, проиграем ваш завод, проиграем производство русских танков, — Бекетов произнёс это с укоризной, раздосадованный тем, что не был понят, получил отказ, столкнулся с глухим недоверием. — Неужели история повторится?

— Вот вы говорите, Андрей Алексеевич, что опять, дескать, проиграем страну, проиграем завод, — главный инженер был похож на тёмную галку: длинноносый, с чёрными волосами, запавшими щеками, тревожным мерцающими глазами. Пиджак его был помят и поношен, галстук повязан старомодно, на синеватых бритых щеках чернели порезы от торопливого бритья. Было видно, что ему некогда следить за собой, а все его силы поглощает завод,

требующий тепла, электричества, ремонта цехов, обустройства подъездных путей. — А ведь мы не знаем, Андрей Алексеевич, кого поддерживать. Говорят, между президентом Валентином Лаврентьевичем Стоцким и премьером Фёдором Фёдоровичем Чегодановым какая-то мышь пробежала. Что у них разлад, и они власть делят, меряются, кому быть в Кремле. И как понять, кого нам поддерживать? Когда было ГКЧП, наш тогдашний директор поддержал ГКЧП, а потом его вытолкали с завода и чуть в тюрьму ни посадили. Это клеймо на заводе оставалось, и наш завод гнобили по полной. Уж лучше нам в политику не соваться, Андрей Алексеевич. Вот выборы пройдут, кого выберет страна президентом, того и будем поддерживать.

Упрямое недоверие, глухое сопротивление, скрытое недоброжелательство исходили от главного инженера. Его столько раз обманывали, принуждали, шельмовали, а он продолжал питать завод паром, электроэнергией, ремонтировал цеха, ставил новое оборудование. Бекетов понимал этого подвижника. Но его раздражало глухое сопротивление, провинциальное непонимание и упорство.

— Чегоданов, когда станет президентом, начнёт стремительное развитие. Громадные деньги пойдут в оборонно-промышленный комплекс. Ваш завод преобразится. Чегоданов уже однажды спас государство, остановил демократов, которые убивали страну и ваш завод, в том числе. Если вы сейчас существуете, то благодаря Чегоданову. Он офицер, государственник, понимает цену оружию. На него клеветают, обливают грязью. Но он единственный, кто в это смутное время может спасти государство. Поддержите Чегоданова, и он не забудет вас.

Ему ответил Главный конструктор — молодой, синеглазый, с упрямым лбом, жёсткими складками рта. Казалось, его облик сложился в постоянном противодействии, ежечасном борении. В этом борении создавался “танк будущего” — смертоносный робот, оружие грядущих войн.

— Вы говорите, что Чегоданов обещает развитие. А почему же, когда он был президентом, не было никакого развития? Мы создавали Т-90 М на собственные средства, заключали контракт с Индией. А вот Валентин Лаврентьевич Стоцкий, когда приезжал на “Уралвагонзавод”, выделил деньги на разработку нового танка. Мы покатали его на Т-90, он пострелял из пушки, и мы нашли с ним общий язык.

— Да поймите, коллеги, Стоцкий не будет президентом. Им будет либо Чегоданов, либо пацифист Градобоев, которому отвратительно слово “танк”. К власти рвутся те, кто двадцать лет назад разрушил советское государство, а теперь сокрушает Россию. Поддерживая Чегоданова, мы спасаем государство. Не верьте этой мерзкой брехне о его несметных богатствах, о миллиардах в иностранных банках. У него есть одна задача на всю жизнь — Государство Российское. Вы спасёте завод, но не спасёте Россию. А не спасёте Россию — и заводу, и “танку будущего” не суждено сохраниваться.

Минуту длилось молчание. Потом заговорил председатель профкома — ладный, красивый, в прекрасном костюме, с белыми большими руками, с золотым обручальным кольцом.

— Вы, Андрей Алексеевич, говорите, что нужно спасти государство от разрушения. Но ведь оно само себя разрушало. Здесь в девяностые такое творилось! Стон, плач, полгода зарплаты нет. На макаронной фабрике вместо зарплаты макаронами людям платили. А нам что — танками платить? Люди побежали с завода. Матери детей в заводскую столовку приводили, чтобы накормить. Митинги, демонстрации. А министр из Москвы приезжал: “А вы идите в лес, ягоды, грибы собирайте, тем и прокормитесь!” Нас тогда государство кинуло, и мы не пропали только благодаря народному терпению и собственной сметке. И с тех пор мы к государству осторожно относимся. Как и оно к нам. В ком оно, государство? Вы в Москве разберитесь, кто оно, государство, тогда мы его на стенку поместим, — он посмотрел на стену, откуда насмешливо взирал президент Стоцкий.

Бекетов испытывал к ним неприязнь. Они отгородились от него глухой стеной. Видели в нём опасность. Не доверяли гонцу из Москвы, где заваривалась очередная смута. Грозил бедами, распадом, оскудением жизни. Они

были обременены производством, добывали деньги, искали материалы, спорили с военными, торговались с заморскими заказчиками. Как огня, боялись политики с её ложью и вероломством.

— Фёдор Фёдорович Чегоданов через меня обращается к вам, — Бекетов, скрывая раздражение, продолжал убеждать. — Чегоданов замыслил рывок, чтобы одолеть стратегическое отставание, когда Россия десятилетиями топталась на месте. Он хочет перепрыгнуть это окаянное время, как ваш танк перепрыгивает овраг. Ему противостоят самодовольные глушцы, жадные стяжатели, прямые агенты врага, которые мешают русскому развитию. Чегоданов после избрания президентом, начнет “революцию развития”. А для этого ему нужны помощники, верные соратники и подвижники. Как Петру нужны были преображенцы и семёновцы. Как Сталину нужен был “орден меченосцев”. Вы — “гвардия развития”. Вы — преображенцы и семёновцы. Вы — “орден меченосцев”. Так отзовитесь же на зов Чегоданова!

На этот зов откликнулся маленький, пухленький специалист по маркетингу. Он ничем не напоминал преображенца, а скорее — лесного бурундучка с чутким носиком и тревожными глазками.

— Гвардия, — это, Андрей Алексеевич, хорошо. Но вы у себя в Москве разберитесь, кто из вас — гвардия Наполеона, а кто — Кутузова. А то и та, и другая гвардия больно друг на друга похожи: обе говорят по-французски.

Бекетов был смущён столь твёрдым противодействием. Эти люди отталкивали его, заслонялись невидимой преградой, видели в нём угрозу своему укладу, достатку, добытым в великих ухищрениях и трудах. Они не чувствовали мучительной судороги, в которой корчилось государство. Не предвидели ужасного будущего. Не понимали своего места среди новой русской смуты, которая неизбежно их поглотит. Ворвётся в корпуса лютыми сквозняками, остановит моторы, оборвёт провода, оглушит криками ненависти и тоски, и в заснеженном, с выбитыми стёклами цеху будет ржаветь остов недостроенного танка.

Бекетов хотел пробиться к их душам, вдохновить, открыть им очи. Рассказать, как великолепны они, каким вековечным и святым делом заняты в этих закопченных цехах.

— Я не убедил вас, не сумел до вас достучаться. Это моя вина. У меня не хватило слов, не хватило примеров. Я уеду разочарованный, как неудачник. Но хочу, чтобы вы поняли, почему я приехал. Почему считаю вас лучшими людьми России, создающими святое оружие. Хотел соединить вас с Чегодановым, понимающим святость русского оружия.

Сидящие за столом посмотрели на него удивлённо. Они услышали необычные слова, которые никогда не звучали на планёрках, производственных совещаниях, заводских собраниях.

— Вы подвижники и герои, простите мой пафос, хотя вы и не подозреваете этого. Среди страшных тягот и разорений вы продолжаете творить свой подвиг: создаете русское оружие. Но ведь русское оружие защищает не только наши очаги и чертоги, не только наши нивы и недра, не только великое русское пространство. Оно защищает заповедную святыню, ради которой наш народ был одарён этим восхитительным пространством, создал свою страну и своё государство. Эта святыня — русская мечта о правде, о красоте и добре, на которых должны стоять страна и государство. На красоте и добре. На правде и справедливости. На Божественной правде, о которой проповедовали пророки и чудотворцы и которая живёт в душе любой старушки из глухой деревеньки. Вы спасали завод, сберегали достояние отцов, заслоняли грудью символ великой Победы, — танк Т-34, стоящий на постаменте. Но вы, быть может, не сознавая этого, отстаивали Божественную правду, которая управляет русской историей, живыми и мёртвыми, детьми и отцами, полевым цветком и звездой небесной. Как бы страшна и кромешна не казалась сегодняшняя жизнь, в ней не меркнет мечта о человеческом братстве, о любви и добре, которые помогли вам выстоять. Вы спасали завод и строили танк, но вы спасали и русскую жизнь и строили русский храм, спроектированный в небесном КБ, по небесным чертежам.

Бекетов видел, как инженеры пугаются его пафосных слов. Им была чужда его богословская проповедь. Слова не достигали их сердец. Их сердца были запечатаны, замурованы. Не доступны светоносным энергиям, которые слетают с небес, превращая тусклых работников в лучистых подвижников, приземлённых ремесленников в просветлённых творцов. Бекетов искал замурованные входы, хотел разобрать завалы, отомкнуть покрытые ржавчиной засовы. Впрыснуть в их сердца лучезарную силу. “Живую воду”, которая орошала русскую землю таинственной животворной росой, побеждала смерть, делала русский народ бессмертным.

— Именно на этот русский храм нацелены силы зла, направлены нашествия и войны. Этот храм, охваченный огнём и пожаром, отбивают у врага русские люди силой оружия. Будь то булатный меч, мосинская винтовка или ваш танк-робот, существующий лишь в чертежах. Старец Филофей, основоположник учения о “Москве — Третьем Риме”, проповедовал, что государство всей своей силой и мощью должно защищать тот райский клад, который вручён русским людям. Ту шкатулку, где хранится чертёж будущего райского храма. Вот поэтому враги хотят сокрушить государство. Опять сеют смуту, выводят на Болотную площадь обезумевшую толпу. Поэтому я к вам и приехал. Спасём Государство Российское! Такое ещё робкое, слабое, наполненное противоречиями и изломами. Но и такое оно страшит вековечных русских врагов. Из России во все века несётся миру укоризна о несправедности этого мира. И эта укоризна вызывает у мира великий гнев. “Русская идея” одним своим существованием сотрясает весь прочий мир. Мир не прощает России эту укоризну, насылает нашествия, взламывает границы могучими армиями, растлеивает изнутри ядовитыми вероучениями. Так было при Стефане Батории. Так было при Наполеоне. Так было при Гитлере. Сегодняшнее государство изуродовано, в стружьях, в кавернах. В нём поселилась несправедливость, стяжательство, ложь. Но в нём, как слабая почка, дремлет идея русской правды. Эта почка дремлет в Чегоданове. Этим он отличается от властолюбца Градобоева и временщика Стоцкого. И эта почка расцветёт, если мы, государственники, будем не лесорубами, а садовниками. Поддержим государство, поддержим Чегоданова. Сбережём “русскую идею”.

Инженеры слушали его угрюмо и молча. Не понимали смысла его появления на заводе. Он не мог им помочь в их судах и спорах. Не мог воздействовать на нерасторопных смежников, которые задерживали поставку прицелов. Не мог защитить от алчной корпорации, отнимающей львиную долю прибыли. Но он не отчаивался. Хотел подключить к каждому из них световод, по которому летят божественные лучи, накрывая Россию невесомым шатром. И каждый, кто подключён к световоду, становится могучим и просветлённым. Совершает великие подвиги. Делает несравненные открытия. Пишет бессмертные книги. Они, эти русские люди, задавленные заботами, изнурённые тяготами, не знали, как они прекрасны, как могуч их дух, какие великие деяния способны они совершать. И он продолжал проповедовать, облучал их суровые лица светом фаворским.

— Россия — мученица райской мечты, страдальца райских заповедей. Под Псковом, на Рижской дороге, стоит Изборская крепость. Гнездовые башен — округлых, прямоугольных. Одни бойницы смотрят и бьют в чистое поле, откуда приближается враг. Другие бойницы смотрят вдоль стен, по которым карабкаются передовые отряды врага. И только одна башня направила свои бойницы внутрь крепости. Когда крепость взята, когда гарнизон защитников перебит, в эту башню отступают последние бойцы, затворяются в ней, стреляют по наводнившему крепость врагу. В этой башне после неравного боя кончаются жизни русских героев и мучеников. Дорога на Псков открыта — иди, завоевывай русский город! Но тут случается чудо Пресвятой Богородицы: Святая Дева является на стенах Пскова и своим лучезарным ликом ввергает врага в смятение, рушит его шатры, обращает в бегство. Изборская крепость напоминает громадный каменный танк, в котором сражался и сгорал героический экипаж Древней Руси.

Бекетов, не получая отклика, чувствовал, как тают его силы. Его энергия иссякала, не одухотворяя их чёрствые души, не пробивая коросту на их

сердцах. В своей немощи он сам припадал к световоду, соединялся с неисчерпаемым океаном русского неба. Из этого неба истекала река русской истории, изливались дивные стихи и вероучения, поднимались, как из купели, бессмертные герои и духовидцы. И Бекетов звал их на помощь.

— Вы создаёте оружие наших дней — ваш замечательный танк. Но ваш танк, оружие Ледовой сечи и Куликовской битвы, Бородина и Сталинграда — это одно и то же оружие, которое передают друг другу многие поколения русских людей. В окайнные годы, после разгрома СССР, это оружие было выбито из русских рук. Его сжигали в Космосе, топили в океане, взрывали в секретных шахтах, умертвляли на остановленных заводах. И сады русского рая стали беззащитными, были отданы на поругание врагам. Россия должна была стать пленницей, подобной тем, которых ливонские рыцари брали в полон. Женщинам привязывали на грудь и на спину грудных детей и гнали бичами. Знали, что измождённая мать не упадёт, чтобы не задавить своих чад...

Бекетов видел, что сидящие перед ним инженеры глухи к его проповеди. Он не нашёл для них слов. Его пафосные речи вызывали в них тайную иронию и раздражение. Световод не достигал их запечатанных душ. Они находились в непроницаемом конконе, были отсечены от чудесных энергий. Забыли связь с великим прошлым, когда одухотворённый народ совершал неповторимые подвиги, создавал необъятное царство, одерживал невиданные победы. Это были погасшие люди, с лицами, закопченными, как стёкла изношенных цехов их завода. Он желал вырвать их из тусклого забвения, напомнить о небесах, куда обращали взоры Пересвет на поле Куликовом, князь Андрей под Аустерлицем, его, Бекетова, дед, погибший под Сталинградом у хутора Бабушкин. Он мысленно поместил их в храм, среди алых лампад, золотых виноградных лоз, плещущих ангельских крыл. Вся божественная красота песнопений, весь пламенный шёпот молитв, вся нежность чудесных слов были обращены на этих сумрачных, усталых людей.

— Но случилось чудо. Выбитый меч Империи не упал на землю. Его успели подхватить ваши руки — руки русских оружейников. Благодаря вашему подвигу русское оружие уцелело. Сохранились научные школы, инженерные сообщества, секретные разработки. И когда-нибудь богомыслящие исследователи истолкуют это спасение как Русское Чудо. Вы сохранили танковое дело, смогли построить лучший в мире танк. Ваш танк — святой, потому что в его броне меч святого князя Александра Невского и кольчуга святого князя Дмитрия Донского. Ваш танк — это алтарь, несущийся сквозь огонь и взрывы. Вы — русские государственники, опора страны. Сегодняшней России не нужны политические реформы, не нужна Болотная площадь. Ей нужны алтари и оборонные заводы. А остальное приложится.

Бекетов умолк. В кабинете стояла тишина. Только было слышно, как звякнула чайная ложечка в руках специалиста по маркетингу, и зашуршал конфетный фантик в руках председателя профкома. Президент Стоцкий насмешливо смотрел со стены, и Бекетов понял, что проиграл. Его проповедь была неуместна. Он выглядел комично, как московский говорун.

В кабинет вошла секретарша. Несла в руках мобильный телефон:

— Танкодром на проводе. Вы просили связать, — она протянула телефон директору.

Директор взял трубку:

— Да. Вас понял. Сейчас узнаю, — он обратился к Бекетову, — Андрей Алексеевич, вы хотели прокатиться на танке. Машина подготовлена. Т-90, как вы говорите, — алтарь на гусеницах. Батюшка и дьякон, то есть командир и механик-водитель — на месте. Хотите помолиться или пойдём обедать? — на его ребристом лице появилась улыбка, насмешливая, как показалось Бекетову.

— Хочу помолиться, — сказал Бекетов.

Его привезли на танкодром, который начинался за воротами завода и терялся в лесах, холмах, ледяных болотах. Там танки, покинув конвейер, проходили испытания. Развивали предельную скорость. Ныряли в болотную топь. Перепрыгивали рвы.

Бекетова встретил молодой сухощавый испытатель с мальчишеским весёлым лицом и шальными глазами. Из-под танкового шлема выглядывал беле-тый чубчик. Камуфлированная тёплая куртка ловко сидела на гибком теле.

— Придётся переодеться, — сказал он, оглядывая пальто, брюки и ту-фли Бекетова. — Машина сейчас подойдёт.

Он отвёл Бекетова в небольшое строение, выдал ему ботсы, тёплую пят-нистую куртку, такие же штаны, кожаный, с тангентой, шлем.

— Вот теперь вы тоже танкист, — усмехнулся испытатель.

Задрожала, загремела земля, и к строению подкатил танк. Огромный, бугристый, он был окутан синим дымом, тёмный среди сверканья снегов. Из люка выглядывал механик-водитель в шлеме. Пушка смотрела жерлом прямо в лоб Бекетову, и у него закружилась голова от тупой непомерной мо-щи орудия. “Алтарь... — подумал он отрешенно. — Хочу помолиться...”

— По машинам! — крикнул сквозь грохот испытатель. Помог Бекетову забраться на броню, помог опустить ноги в железную глубину, устроиться в башенном люке. Сам же ловко угнездился в соседнем люке, прижал тан-генту к шевелящимся губам. Танк качнулся, взревел, шарахнул Бекетова о железную кромку и пошёл с ровным рокотом, вминаясь в снег. Бекетов схватился за крышку люка, чувствуя ледяную сталь. К его лицу прижали прозрачную подушку из тугого морозного воздуха, глаза наполнились слеза-ми и смотрели на размытое солнце.

“Спаси, Господи, люди Твоя”, — молитвенно подумал Бекетов. Ему бы-ло горько. Он не сумел убедить упорных технократов, а только насмешил их неуместной проповедью.

Танк качнул пушкой, вылез на бетонку — прямую белую ленту, окру-женную сосняками. Вскрапнул и ринулся, свирепо и мощно, с неистовой си-лой, превращаясь в летящую гору брони. Бекетов почувствовал, как резанул его блеском воздух, как брызнули солнечно слёзы, как закружилась колючая пыль. Танк рвал гусеницами бетон. Пушка, как громадный палец, указыва-ла вперёд. Танк мчался, хрипя и звеня. Бекетов качался в люке, чувствуя колыханье брони, словно танк вот-вот оторвётся от бетонки и взлетит в блед-ную синь.

И внезапно большая и странная мысль поразила его. Неужели это он, Бе-кетов, несётся в танке, ударяясь плечом о броню? Он, которому мама наде-вала на голову веночек ромашек? Он, который боялся пчелы, залетевшей в оранжевый цветок тыквы? В тот восхитительный майский вечер, когда ле-тали жуки, расцветала сирень, и мама внесла на веранду самовар с души-стым дымком, роняющий на поднос угольки... И внезапно вошёл отец, заго-релый, прилетевший из дальних стран, и они с мамой кинулись к нему, а он раскрывал узорную жестяную коробку с чёрным хрустящим чаем... Неуже-ли всё это было? Девушка из соседнего дома, с которой они ходили в театр, а потом целовались в случайном дворе, и он впервые касался женской гру-ди, сжимая губами маленький тёплый сосок... И похороны убитых солдат, надрывная медь оркестра, и он шагал по еловым веткам, и видел, как тор-чит из гроба голубоватый колючий нос... И то упоение, с которым он читал стихи, каждый раз замирая, когда приближалась строфа: “Это “Млечный путь расцвёл нежданно // садом ослепительных планет...” И тот холодный осенний дождь, падавший на могилу отца и матери, и он держал в руках бук-ет красных роз, не решаясь положить его на землю... И та голубая спаль-ня с зеркалами и тихой музыкой, и приторный запах духов, и женщина с шелковистым телом, и близко от глаз его мерцал в мочке её уха брилли-ант... Неужели это он, Бекетов, несётся в танке, пролетая ещё один крохот-ный отрезок жизни, дарованной ему от рожденья до смерти для какой-то та-инственной, неразгаданной цели?..

Эти мысли были размыты, как мелькающие в метели сосны, они поро-дили чувство абсурда, необъяснимости бытия.

Танк соскользял с бетонки и ухнул в ледяное болото. Чёрный взрыв грязи, обломки льда, гнилая кипящая рывтина. Бекетова швырнуло вверх, и он вцепился в стальную крышку, чтобы не улететь в эту тёмную топь, не сгнуться в гнилых проломах. Грязь хлестнула по лицу, губы глотнули серово-

дородную вонь. Танк переваливался с боку на бок, ломал лед, выдавливал коричневые пузыри, подминал тощие болотные сосны. Бекетов бился о железо, и в нём возникало ожесточение. Он сам был подобен танку, который шёл через болото русской смуты. Увязал в трясине демонстраций и митингов, в придворных интригах и заговорах, в тупости временщиков и подлости предателей. Он один, надрываясь, тащил на буксире неповоротливую машину государства, у которой заглох мотор, сбежал экипаж, ослабел командир. Хрипя, он давил на газ, будил пинками командира. Молил Господа, чтобы выдержал трос. Чтобы танк дотянул до края болота. Чтобы гусеницы схватили твёрдую землю. Чтобы у машины завёлся мотор. Чтобы очнулся командир. Чтобы вернулся разбежавшийся экипаж. И тогда взывает вся могучая армада государства и неустержимо, “гремя огнём, сверкая блеском стали”, устремится в прорыв.

Танк выдрался из болота, отекая липкой жижей. Покатил в снежных холмах, взлетая на сияющие вершины, погружаясь в тенистые овраги. Нависал над кручей, и казалось, сейчас перевернётся и, тяжело грохая, повалится вниз. Бекетов вжимался в люк, чувствуя плечом острую кромку. Танк задира к небу пушку, карабкался, как жук, на отвесный склон. И Бекетов впиался в броню, ожидая, что танк станет заваливаться и упадёт на спину, беспомощно хватая гусеницами небо.

Он отдавал себя в руки Господа. Каялся в совершённых грехах на этом стальном алтаре: грехи всплывали в памяти среди адской гонки.

Друг детства уходил на афганскую войну, его провожал весь дом. Плакали мать и отец, молодая жена клялась в вечной любви. Друг, хмельной, с вещевым мешком, махал из отъезжавшего автобуса. Возвращались тёплой ночью через парк, и жена друга вдруг стала его целовать, повлекла в чашу парка, и на влажной траве он растёгивал непослушное платье, кусал её губы. Вставая, не смотрел на неё, испытывая гадливость и к ней, и к себе.

На даче проходил мимо дождевой бочки, и увидел, как в тёмной воде в мелком трепете бился мотылёк, пытаясь взлететь. Прошёл мимо, не вычерпал мотылька из воды, не сохранил ему жизнь. Возвращаясь обратно, видел, как на водяном чёрном круте безжизненно лежит мотылёк.

Работая с Чегодановым, помогал ему в деликатных делах. Банкротил банки, возвращал государству заводы и прииски, нефтяные компании и морские порты. Молодой банкир, придя к нему на приём, умолял не губить, сохранить его банк, обещал отступные. Бросился на колени, пытался целовать его руки. Бекетов не внял мольбам, отказался ему помогать, и вскоре прочёл в газетах о самоубийстве банкира.

Лукавство и ложь, на которые он шёл теперь, желая помочь Чегоданову. Обман Градобоева, вероломные визиты к Мумакину, Лангустову, Шахесу. И всё — во имя России, во имя Государства Российского, но при этом — тончайшая фальшь, которую не скрыть сусальной позолотой, исклёванной птицами.

Всё это сумбурно припомнил Бекетов среди кувыркков и толчков, каждый из которых был “камнем преткновения” — греховным поступком на его жизненном пути.

Танк пошёл вниз, набирая скорость, вонзая пушку в сверканье снегов. Впереди, у подножья холма, разверзлся овраг, тенистый, полный синего снега. Танк мчался к оврагу в свисте ветра, и Бекетов ждал, когда машина ухнет в глубину оврага, и погаснут вместе с солнцем его грехи и раскаяние, его гордыня, и незавершенные замыслы. Вся его странная, сотканная из любви и ненависти, жизнь.

Танк оттолкнулся от земли и полетел невесомо, окружённый солнечной пылью, и вонзился в противоположную кромку оврага. Мягко спланировал и помчался в волнистых снегах.

У песчаного откоса танк застыл на мгновение, а потом стал кружиться на месте, ввинчиваясь в землю, словно закручивал громадную гайку. Бекетов ошалело вращался вместе с ним, крутились холмы, песчаные откосы, далёкий лес, и снова холмы и откосы. Казалось. Бекетов попал в грохочущий вихрь, в чудовищную круговерть времён, где нет ни конца, ни начала,

а только жуткая карусель, из которой ему не спастись. Он перестал думать, перестал сопротивляться ударам, а слепо смотрел полными слёз глазами, чувствуя, как стальная фреза выпиливает под ним землю, и готов был провалиться в преисподнюю.

Внезапно танк замер. Стоял, окутанный испариной. Из люка смотрело на Бекетова молодое лицо испытателя, перечёркнутое длинной болотной брызгой.

— Ну, хватит! — перекрикивал он храп мотора. — Пора домой.

Из танка Бекетов вылез разбитый, земля под ним ходила, он продолжал раскачиваться. С трудом переоделся. Комфортабельный джип унёс его с танкодрома в город, к заводскому дворцу культуры. Под колоннами его встретил директор, серьёзно и озабоченно оглядывая, желая убедиться, что гость уцелел после рискованной прогулки.

Дворец был подарком Сталина заводу в благодарность за тысячи победоносных Т-34. Кругом были уральские самоцветы, дорогие породы дерева, венецианское стекло, расписные плафоны. В гостиной накрыли стол, Бекетова ждали знакомые инженеры.

Официант в чёрном смокинге, с галстуком-бабочкой, разлил в хрустальные рюмки водку.

Директор встал, держа рюмку:

— Андрей Алексеевич, пока вы отсутствовали, мы посоветовались, связались с Уральским союзом оборонных предприятий и решили поддержать Фёдора Фёдоровича Чегоданова. С ним мы связываем наше будущее. Предлагаю выпить за его здоровье.

Все поднялись, чокались, роня блестящие капли. Бекетов залпом выпил огненную воду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Новосибирск — могучий кулак, охвативший жилу Транссибирской дороги, клокочущую вену Оби, пучки магистралей, ведущих к ледовым морям. Железные мосты выстреливают на восток и на запад составы с пляшущими иероглифами, с клеймами немецких заводов. Стальные трубы, переполненные нефтью и газом, дрожат, как гремящие струны, схваченные пятерней, которой уловлен громогласный аккорд Сибири. Так рвут постромки и хотят разбежаться кони гигантской квадриги, и наездник стягивает их воедино, наматывая на запястье ремни.

Бекетов чувствовал город, как сгусток непомерных энергий, скопление огней и металлов, фокус лучей, озаряющих русское будущее. Как наковальню, где в звонах выковывается образ грядущей России.

Он приехал на Авиационный завод имени Чкалова — гнездо, из которого в годы войны вылетали тысячи боевых самолётов, цвет и краса сталинской “цивилизации неба”. Сюда — звать сибирские полки на защиту Москвы — и явился Бекетов.

Директор завода имел круглое, с узкими глазами лицо, в котором русское тесто входило на якутской закваске. Он вёл Бекетова по цехам, где стояли станки, напоминавшие хрустальные буфеты, в которых мерцали волшебные сосуды, драгоценные сервизы. Рабочие в комбинезонах, не касаясь станков, приближали глаза к приборам. Директор показывал своё богатство, как коллекционер демонстрирует шедевры, составляющие славу коллекции. Станки из Японии, Германии, Франции явились на завод после страшного разгрома, учинённого на военном производстве в минувшие годы. И там, где недавно зияли чёрные дыры обугленных цехов с обломками недостроенных фюзеляжей, теперь сияло лучистое, уходящее вдаль пространство, где, в переливах света, на ступенях дышали самолёты.

Несравненный фронтальной бомбардировщик Су-34. Ещё не покрыт боевой сизо-стальной расцветкой. Зеленовато-лимонный, в отточенных кромках, заострённый, пластичный, созвучный воздушным струям, бурлящим вихрям. В нём лёгкость и плавность дельфина, заострённость дробика, упругая мощь,

которая превращает машину в гремящую молнию, пронесит над полем боя, оставляя груды горячей брони. В этих формах, прекрасных и грозных, пугающих и ласкающих глаз, чувствуется гигантская воля. Пилотов, ведущих машину в грохочущем небе. Рабочих, сотворивших самолёт из ломтей титана. Конструкторов, воплотивших в прозрачном замысле идею воздушного боя. Стратегов, устремлённых в сраженья ещё не начатых войн. Воля всего измученного, растоптанного народа, одолевающего своё поражение, устремлённого к долгожданной победе. Воля, преодолевающая русскую смерть, продлевающая русскую жизнь.

Их три штурмовика, стоящих на стапелях, окружённых металлическим звоном и шелестом. На них подвешивают скорострельные пушки, прицелы для бомб и ракет. Ставят компьютеры, управляющие скоротечным воздушным боем. Машина, уклоняясь от попаданий противника, защищённая облаком электронных помех, пронесится сквозь ядерный взрыв, сбивает истребитель врага, вонзает ракету в подземный бункер. Прозрачной тенью уходит в пустое небо.

Так чувствовал Бекетов это волшебное творчество, трогая ладонью крыло, и самолёт едва ощутимым трепетом откликнулся на нежное прикосновение.

Директор заметил это взволнованное касание:

— Этот самолёт завтра совершит свой первый полёт. Для нас это праздник. Мы собираем коллектив, зовём ветеранов. Батюшка освятит машину, окропит её святой водой. Самолёт сделает круг над заводом и вернётся в цех. Его покрасят в боевую расцветку, нарисуют звезду и отправят в полк для несения службы, — директор любовно осмотрел самолёт, который нетерпеливо ожидал свидания с небом. — И ещё, Андрей Алексеевич, сегодня вечером состоится собрание патриотов, которые хотели бы поддержать Чегоданова. Там есть всякие: и “красные”, и “белые”. Монархисты, которые молятся царю-мученику, и сталинисты, которые молятся на красную звезду. Будут споры и ссоры. Приглашаю вас, может, вы выступите? Расскажите, как на это смотрит Москва?

Осмотрев завод, Бекетов и директор уединились в кабинете, и Бекетов заметил, что над директорским столом висит портрет Чегоданова, а не президента Стоцкого. Бекетов рассказал директору о политических событиях в Москве, о протестных демонстрациях, об угрозе, нависшей над государством. Просил поддержать Чегоданова в канун президентских выборов. Директор обратил к Бекетову своё луновидное лицо, которое подарили ему славянские и якутские предки, и спросил:

— А почему бы не выкатить на Болотную площадь пулемёты и не косить эту мразь рядами? Та-та-та-та! Ряд за рядом! Чтобы бежали, как крысы. А потом эту липкую жижу хлоркой посыпать и смыть водомётами! Чтобы инфекции не осталось! Государство должно себя защищать! — его скулы играли, губы издавали звук неистой дудки. Бекетов был поражён этой внезапной яростью, не свойственной благоразумным руководителям и технократам. Объяснял, почему невозможен расстрел демонстрантов.

— Ладно, — мотнул головой директор. Было видно, что ответ его не устроил. И вопрос, который он задал, видно, заслуживает другого ответа. — И почему вокруг Чегоданова шныряет вся эта сволочь? Почему он власть передал Стоцкому, а теперь назад её отбирает? Почему он эту сволочь болотную к себе приглашает? Почему я должен на это смотреть и не плевать при этом? — в узких тёмных глазах директора горел злой монголоидный огонь, а славянский рот растягивался в вольчую улыбку.

Бекетов чувствовал взрывную энергию, скопившуюся в страстной душе, опровергавшую утверждение об усталости русского человека, о его унылом смирении. Бекетов осторожно объяснил директору сложность отношений Стоцкого и Чегоданова, который не свободен, связан путами с либералами, и ему трудно от них избавиться.

— Ладно, — директор мотнул головой, как бык, перебрасывая через себя негодный ответ Бекетова. — Тогда скажите, почему Чегоданов не придумает эту моль, которая весь его пиджак источила? Почему не приблизит к себе производственников, которые понимают, что есть государство, и служат этому государству, хотя оно, это самое государство, их лупит да лупит!

Не Бекетов обращал директора в свою веру, а директор упрекал Бекетова в недостатке государственной воли.

— Почему, спрашиваю вас, Москва думает, что она всех умней, а в провинции живут дураки? Москва дурней всех, от неё вся зараза. Она с жиру бесится, ничего не производит, последний кусок у всей России изо рта вынимает. Сибирь и Урал без Москвы проживут, а она без нас — едва ли. Если так и дальше будет, мы Новосибирск столицей России сделаем. А Москва пусть митингует, на сколько её хватит — посмотрим!

Директор всаживал в Бекетова свои вопросы, как пули, и Бекетов не знал, сколько ещё этих пуль у него в магазине. Он перестал отвечать, убедившись, что не ответы интересуют директора, а только сама возможность бить прицельно в близкий лоб собеседника.

— Ладно, а почему Чегоданов не скажет народу, что война на носу? У Китая армия готова к войне. У Турции — готова. У Ирана — готова. У НАТО — готова. Только у России нет армии, нет оружия, нет обороны. Министр — то ли вор, то ли пацифист. Пудрит мозги народу. Миру — мир! А когда нас, как Ливию, будут бомбить, куда побежим? На Болотную?

Бекетов выдерживал эти “вопросы в лоб”. Директор, упрекая Бекетова, упрекал Чегоданова, упрекал государство. Не в бессердечии и бесчувствии, не в свирепости и бездушии, не в глухом равнодушии к стону “маленького человека”. Он упрекал государство в слабости, в дурном раздвоении, в отсутствии воли, в забвении грозных заповедей, которые исповедовали бывшие цари и вожди, сберегая страну среди мятежей и нашествий. Директор боялся, что оскудение государственной воли даст выход смутным и яростным силам, которые вновь, как было недавно, ворвутся в цеха, сметут дорогие станки, рассекут на куски недостроенные самолёты, не позволят подняться в небо чудесной машине. И снова в цехах загуляет метель, и на рухнувших ступенях повиснет мятый обломок крыла. Бекетов был благодарен директору за эти злые упреки, за фиолетовый гнев в его монголоидных глазах.

— Ладно, — продолжал директор. — А почему Чегоданов не выйдет к народу и не скажет: “Братья и сестры, спасайте страну!”? Народ его услышит. Простит грехи, подтянет пояса, пойдёт спасать государство. Наш народ — государственный, а не торговец, не лавочник. Пусть даст народу задание: построить страну, какой ещё не бывало. Без воров, без насильников, без крючконосых банкиров, которые жрут русскую душу и тело. Пусть даст чертёж государства, а мы, инженеры, построим ему любой звездолёт, который взметнёт Россию в Космос. Наш народ — не банкир, не адвокатишка. Народ — лётчик, народ — космонавт!

Бекетов любил это яростное лицо, в котором играли все краски русской Евразии. Текли все реки, дули все ветры, голосили все языки. В этом лице не было усталости и уныния, а только ненасытная жажда жить, строить города и заводы, пускать в небеса самолёты. Бекетов, утомлённый в своих непосильных трудах, одинокий в своих радениях, оживал в соседстве с этим неутомимым творцом. Его лицо было круглой чашей, в которой *плескалась живая вода*.

— Я вам скажу, почему мы на заводе поддержим Чегоданова, хотя ему далеко до настоящего лидера. Вы видели наш самолёт? Видели, какой он красавец? А ведь его могло и не быть, если бы ни Чегоданов. Когда мы воевали с грузинами, и этот придурок, который жует свои галстуки, кинул танки на наших миротворцев в Цхинвале, наши самолёты плохо себя показали. Войска шли без воздушного прикрытия, потому что все наши машины устарели — летающие мишени для грузинских ракет. А грузин вооружали американцы, у них было оружие НАТО. И это оружие молотило наши самолёты, мы их потеряли добрый десяток, а результат — никакой. Американцы хотели перебросить на грузинские аэродромы свои самолёты, и тогда бы уже была другая война. Что делать? Посылать на штурмовые удары всю оставшуюся авиацию? Вспомни, что на полигоне уже несколько лет мусолят две наши машины СУ-34. На вооружение не принимают, испытания затягивают. Но эти машины обладают всеми современными средствами радиоэлектронной борьбы, всеми средствами подавления ПВО противника. Выбирать не при-

ходило, да и не из чего было. Кинули эти две машины на фронт вместе с лётчиками-испытателями и нашими заводскими инженерами. Подняли они “сушки” в небо, два раза прошли от Цхинвала до Тбилиси и обратно. Смести всю систему грузинской ПВО, подавили ракетами все радары, разбомбили взлётно-посадочную полосу под Тбилиси так, что ни один американский самолёт не сядет. Разгромили авиаремонтные мастерские и попутно сожгли несколько танковых колонн. Вернулись невредимыми — ни одной царапины. И войне конец. После войны, как водится, о наших самолётах забыли. Опять тягомотина, опять министерская дурь. Приказ — ремонтировать старые самолёты, латать старые портки. Так бы оно и тянулось, если бы Чегоданов своей волей ни согнул дураков в министерстве. Наш завод получил заказ на сто боевых машин. Поэтому мы и живём. Насыщаем полки новой техникой. Завтра ещё одну нашу птичку из гнезда выпускаем, — на лице директора больше не было гнева, а светилась тихая нежность. — Я вот что думаю, Андрей Алексеевич. Когда нам грузины накостыляли, мы очнулись, разгромили их, и теперь запускаем лучший в мире фронтовой бомбардировщик. Когда Градобоев накостыляет Чегоданову на Болотной площади, тот очнётся, разгромит Градобоева и запустит звездолёт Государства. Иначе не может быть.

Накормив Бекетова обедом, директор повёл его в Дом культуры, где собрались представители общественности, члены объединений и партий, чтобы обсудить платформу, на которой сойдутся патриоты всех направлений, забудут на время свои распри и единым фронтом поддержат на выборах Чегоданова.

В зале с поблекшей лепниной, обветшалыми креслами, бронзовыми бра и огромной, с желтоватыми хрустальными люстрой былолюдно. Бекетова директор усадил за столом, на сцене, рядом с собой. Бекетов разглядывал пёстрое собрание, среди которого виднелись казаки в крестах и погонах, старики-ветераны с советскими наградами, несколько отставных генералов в советской форме, бородатые священники с крестами на серебряных цепях. Директор шёпотом сказал, что в зале есть академики, писатели, журналисты, а также завсегда такие подобных собраний, состарившиеся среди бесконечных, длящихся двадцать лет митингов и демонстраций.

— Дорогие сограждане, — произнёс в микрофон директор. — Нам сейчас предстоит обсудить, с какими идеями и предложениями мы пойдём на президентские выборы и что пожелаем нашему кандидату Фёдору Фёдоровичу Чегоданову, чтобы он непременно победил на выборах.

Директор поведал о заслугах Чегоданова перед Россией в его первые президентские сроки. Осторожно порассуждал о трудностях нынешнего политического периода. Повторил известную Бекетову историю о СУ-34 и о роли в этой истории Чегоданова. И предложил собранию присылать записки и высказываться.

Первым вышел на сцену господин с седоватыми бакенбардами и пышными усами. На его груди красовалась лучистая звезда, напоминавшая орден царских вельмож. И он сам своей величавой осанкой и благородным лицом был похож на императора Александра Второго.

— Господа, мы, разумеется, поддержим Фёдора Фёдоровича Чегоданова, но прежде чем создавать единый народный фронт, я бы желал понять, с кем я образую этот самый единый фронт. Пускай в него входят коммунисты, но пусть они отрекутся от Ленина. Мы, монархисты, не можем сотрудничать с теми, кто возвеличивает цареубийцу, восхваляет богохульника и святотатца, который приказал вешать священников, нанёс страшный удар нашей матери — Православной Церкви, а значит — и всей России. Недаром Господь наслал на Россию Гитлера, чтобы покарать народ за богоотступничество. И по сей день гнев Господа на нас. Отрекитесь от своего кровавого вождя, господа коммунисты, и я подам вам руку! — он эффектно показал залу свою белую большую ладонь, сверкнул лучистой звездой и сошёл в зал.

На сцену поднялся худощавый человек с утомлённым, пепельного цвета лицом. Мучительно улыбаясь, он обратился в зал — туда, где мерцала звезда предыдущего оратора:

— Я историк, а не богослов. Но позволю себе заметить моему коллеге, что удар большевиков по церкви можно рассматривать как кару Господа за

прегрешения этой самой *матушки-церкви*. Потому что к началу двадцатого века церковь потеряла огонь веры, стала сытой, тучной, равнодушной к народным бедам. Вспомните картину: “Чаепитие в Мытищах” или “Крестный ход в Курской губернии”. Народ отвернулся от Церкви, без всякого сожаления закрывал храмы и сбрасывал колокола. И если следовать логике моего коллеги, то именно большевики вернули Церкви её пламенную роль. Каждый убитый священник стал Святomучеником, и сонм новомучеников вымолил у Бога победу над Гитлером, — он сходил со сцены под ропот одних и аплодисменты других.

Слово взял священник, в облачении, с золотым крестом. У него была рыжая огненная борода, нежно-розовое лицо и бледные голубые глаза. Пока поднимался на сцену, он крестился и что-то шептал, шевеля губами в дорожной бороде:

— Братья и сестры, должен заметить, что убийство царя не было выражением социального протеста и, уж конечно, не может быть истолковано как проявление гнева Господня по отношению к Государю Императору. Это было ритуальное убийство, совершённое глубинными врагами Православия, которыми кишело сообщество большевиков. Поэтому мы и хотим, чтобы коммунисты покалялись в совершённом царевубийстве, осудили палачей, согласились с переименованием улиц, носящих имена палачей, и приняли участие во всенародном покаянии.

Его сменил молодой человек, который, сидя в первом ряду, записывал речи выступавших на диктофон. Он торопливо засовывал этот диктофон в карман куртки, когда шёл на сцену:

— Я отвергаю обвинения в убийстве царя! Вернее, не отвергаю, но хочу справедливости! Хотя бы поровну! Царя предали иерархи Церкви, когда он просился стать Патриархом. Не приняли, и отдали на растерзание. Предали члены царского дома — присягнули Временному правительству, ходили на митинги с красными бантами. Предали генералы, которые чуть ли не силой вырвали у царя отречение. Покайтесь вы, батюшка, а потом и мы вслед за вами! А то с больной головы на здоровую! — И он сбежал со сцены, задыхаясь, продолжая что-то бормотать на ходу.

Бекетов жадно слушал, чувствуя, как остро люди переживают события столетней давности. Как кровоточит рана, разрубившая русское время. Как этот разящий удар переносится из поколения в поколение, ссорит, продлевает бесконечную распрю, не даёт народу обрести единство и целостность. И если ссыпать в общую могилу “красные” и “белые” кости, схоронить под крестом добровольцев Деникина и конников Будённого, то эти кости и в могиле будут рубиться шашками, и земля под крестом станет шевелиться и пучиться.

Выступал казак с лампасами, в португее, с серебряными погонами, весь в крестах. У него было красное лицо, голубые глаза и лихие усы, которые он энергично топорилил:

— А я согласен, когда говорят, что Ленин — предатель. А кто же он, если жировал в Швейцарии на германские деньги! Он, ваш Ленин, прикатил в Россию в немецком вагоне, разложил воюющую русскую армию, которая начала уже одерживать блистательные победы, и отдал Германии пол-России. Предатель, “красная гадина”! — Казак гневно топнул ногой, выкатив грудь с крестами, и пошёл в зал, и казаки из зала кричали ему: “Любо”!

Его место занял отставной полковник в советской форме, в блеклых золотых погонах, с орденскими колодками. У него была седая бородка, которая скрывала шрам на подбородке. Его руки, когда он говорил, мелко дрожали:

— Во-первых, господин казак, армию разложили не большевики, а эсеры или, как их сегодня называют, либералы. Они требовали выбирать командиров. Её разложили вороватые интенданты, которые поставляли на фронт сапоги с картонными подошвами, тухлое продовольствие и негорящий порох. Её разложили бездарные царские генералы, которые не сумели организовать ни одного наступления. И сам царь, который отменял наступления по указке Гришки Распутина. А большевики создали боеспособную Красную

армию, которая разгромила “белых” и Антанту. Создали оборонные заводы, которые переломили хребет Гитлеру. Если бы, господин казак, Красной Армии командовали царские генералы, мы бы сейчас говорили по-немецки.

Одна половина зала хлопала, другая — улюлюкала. Директор, ведущий собрание, вынужден был успокаивать зал:

— Товарищи, тише! Господа, я вас очень прошу!

На сцену взбежал взволнованный юноша с маленьким двуглавым орлом на груди:

— Какая армия! Какая победоносная! Сталин проиграл войну, когда миллионы солдат сдавались в плен, не желая воевать за большевиков! И только позже, когда народ понял, что решается судьба России, он начал по-настоящему воевать. Войну выиграли не комиссары, не Сталин, а русский народ, который ещё помнил святую Русь, — это был крещённый народ!

На него затопали, засвистели. Другие кричали: “Любо!”, “Браво!”. Кто-то встал и пошёл из зала. Его останавливали, сажали на место. Раздавались крики: “Иуды!”, “Сами вы иуды”, “Надоели попы!”, “Красножопые недобитки!”

Бекетову казалось, что одна часть зала схватится с другой врукопашную. И снова поведут на речные откосы пленных красноармейцев в нижнем белье и станут стрелять им в затылок. И вновь в золотые погоны пленных офицеров озверелые матросы станут вбивать гвозди. И закружит, завоюет, засверкает саблями, застрочит тачанками незавершённая гражданская война, и брат пойдёт с топором на брата.

Когда шум поутих, и лишь качались беспокойные головы, топорщились казачьи усы и пестрели орденские колодки, на сцену поднялся тяжёлый седовласый старик, величавым видом и надменным подбородком похожий на камергера:

— Господа, оставьте свои сталинские заблуждения. Сталин ненавидел русский народ. Он зверски извёл крестьянство — цвет русского народа. Он произнёс в Георгиевском зале тост за русский народ, а потом, в узком кругу своих Кагановичей и Микоянов, сказал: “Пусть собаки жрут свою блевотину!” Сталин такой же русофоб, как и Ленин!

Все взорвалось. Свистели, аплодировали. Всакивали на кресла. Кричали: “Врёте!”, “Провокатор!”. Их перекрикивали другие: “Палачи!”, “Людоеды!”. Директор что-то беспомощно гудел в микрофон. Бекетов чувствовал, как выплёскиваются из зала фиолетовые языки ненависти, и хрустальная люстра темнела, как во время затмения. В этом зале над головами неистовых людей витали тени застреленных жертв и обласканных властью счастливых. Замученных поэтов и достигших величия полководцев. Павших в боях и бежавших к врагу. Летевших в Космос и писавших подпольные книги. Эти тени сшибались, продолжали чудовищную, длящуюся бесконечно распри. Раскулаченные и приближённые к трону. Почившие в безмянных могилах и отлитые в бронзе. Проклинающие и обожающие.

Бекетов чувствовал кошмар русской истории, взрыв, разорвавший русское время, турбулентные вихри, терзающие русскую душу. Эти вихри швыряли из стороны в сторону самолёт русского государства, направляли его к земле, обрекали на крушение. И чувствуя, как трещат и гнутся крылья, проваливаются рули, захлёбывается двигатель, испытывая великую тоску, Бекетов вырвал микрофон из дрожащих рук директора. Надсадно, с металлическим свистом и рыком, выдохнул в зал:

— Разве мы не русские люди? Разве мало пролито русской крови? Неужели вновь станем веселить и радовать врага, который ликует, наблюдая вековую русскую ссору? Быть может, очнёмся у последней черты, перед тем как пасть русскому государству? Обернёмся все, “красные”, “белые”, лицом к врагу, который добывает Россию? Русские мы или нет?

Всё это с хрипом, с металлическим стоном прокричал Бекетов, и зал умолк, услышав его истонный вопль. Директор завладел микрофоном:

— А сейчас слово предоставляется нашему московскому гостю, известному нам Андрею Александровичу Бекетову! — и директор вернул Бекетову микрофон.

Бекетов, исполненный тоски и страдания, яростного несогласия и страстного порыва, дунул в микрофон, как дуют в трубу, скликаая на бой растерзанное войско:

— Я не “белый”, не “красный”! Но я и “белый”, и “красный”! Потому что я русский! Во мне бушует эта “красно-белая” схватка, во мне лязгают сабли и строчат пулемёты. Мои предки уплывали из Крыма с последним пароходом. Мои предки сражались под Сталинградом и ломали хребет фашистам. Мы должны совершить непомерное усилие, громадный духовный подвиг, чтобы в каждом из нас случилось историческое примирение, мистическое братание, и наша рассечённая душа, наша взломанная история обрели единство и целостность. Смогли в своей целостности и полноте служить России!..

Он торопился, хотел успеть до того, как люди поднимутся, хлопая креслами, шаркая ногами, злобно выкрикивая, и покинут зал. Видел, как недовольно морщатся лица, отворачиваются головы, топорщатся фыркающие губы. Он их удерживал на местах своей волей и страстью, молитвенными упованиями и колдовскими заклинаниями. Он стягивал кровоточащие кромки враждующих эпох, вставал между двух беспощадных армий, и в него вонзались пули, врбались клинки, а он стоял, изнемогая. Взывал к миру.

— Владыка Иоанн Снычев, митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский, великий православный подвижник, обращаясь к националистам и коммунистам, благословил их искать примирение. Сказал: “Мы русские, и да возлюбим друг друга!” Другой молитвенник, старец Троице-Сергиевой лавры иеромонах Филадельф, незадолго до трагического расстрела парламента принимал у себя в келье представителей и “белых”, и “красных”. Благословил их на совместные деяния во имя Родины, над которой витали либеральные нетопыри. Удивительный священник, блаженный и просветлённый отец Дмитрий Дудко, много потерпевший от советской власти, говорил: “Сталинские герои Зоя Космодемьянская и Александр Матросов, Виктор Талалихин и двадцать восемь гвардейцев панфиловцев, “Молодая гвардия” и генерал Карбышев — всё это святомуученики. Они крестились кровью, пролитой во имя Родины, их лики будут написаны на иконах и на стенах храмов”. Прислушаемся к духовному опыту этих отцов. Прислушаемся к голосу нашей измученной русской души, требующей великого примирения! ...

Он чувствовал, что в зале царит угрюмое напряжение. Ему не доверяли, его отвергали. Были непонятны его патетические призывы, его мучительные возгласы. А он был тонким перешейком, стягивающим континенты, которые расплзались. Был князем, которого привязали к двум согнутым соснам. Был телефонистом, сжимающим в зубах рассечённый провод.

— Световод русской истории разорван. Между царством Романовых и империей Сталина — разрыв, из которого хлещет, утекает историческая энергия, и лишь малая её доля достигает наших дней, где чахнет росток нового Государства Российского. Остаётся без волшебной влаги, которая впивает этот росток, наращивает его листья и крону. Враг, разрушивший “белое” царство Романовых, и “красную” империю Сталина, ликует. Вбивает клин в место разрыва. Не позволяет срастить время русской истории, и мы остаёмся надорванным народом. Но мы соединим разорванный световод. Найдём стык, где русские патриоты, заварят шов, прекратят бессмысленную трату драгоценных энергий!

Бекетов чувствовал тщету увещаний. Всю безнадежность усилий, не способных укротить свирепые вихри истории, одолеть ужасающий раскол, куда провалилась русская жизнь. Одиночка, он пытался управлять историей, выпрямить земную ось, заполнить своей немощной плотью жуткий провал, стянуть своей слабой волей обезумевшие осколки вселенной. Зал молча слушал. Не было ропота и насмешек. Казалось, люди окаменели, и в каждом застыли сомнения, упрямое несогласие, непрощённые обиды. Бекетов направлял в окаменелый зал огненный луч, исходящий из сердца, стремился расплавить камни.

— Где тот загадочный стык, на котором таинственный сварщик заварит свой “золотой” шов? Царь-мученик Николай Второй, последний император

“белой” империи. И Иосиф Сталин — первый император “красной империи”. Один передал другому заветную лампаду, в которой не умер благодатный огонь пасхального воскресения. Царь был оставлен всеми, даже самыми близкими, даже Церковью и членами царского рода, и взшёл на свою Голгофу. Сталин убил палачей царя. Собрал воедино империю. Вернул в культуру Пушкина — величайшего имперского гения. Восстановил алтари. Одержал мистическую Победу, которая была религиозным торжеством светоносных сил мироздания, победой над космической тьмой. Этой мистической победой Сталин соединился с небесами, стал помазанником. Был коронован силой небесной!..

Бекетову казалось, что его усилия не напрасны. Он соединил волшебный световод русской истории, срстил разорванный стебель русского времени.

— Были страшные гонения на Церковь, убийства священников, торжествующее богохульство, проповедь безбожия. И это позволяет называть “красный век” веком богоотверженных. Но так ли? Война и Победа опровергают это. С первых же дней Отечественная война стала называться “священной войной”. А Победа, которую сегодняшняя наша Церковь празднует как религиозный праздник, — Победа тоже “священная”. Войска, которые добились священной Победы, — взводы, роты и батальоны, полки, дивизии, армии, — они тоже “священные”. Командиры полков и батальонов, дивизий и армий окружены ореолом святости. Верховный главнокомандующий, генералиссимус, который вёл армию к Победе, тоже окружён нимбом святости. 30 миллионов погибших на этой войне — это святая жертва, соизмеримая с жертвой Христовой. Потому что народ сражался не просто за свои очаги и нивы, не только за свою ненаглядную Родину. Он сражался с космической тьмой, которая стремилась отвергнуть космический Свет, перечеркнуть план, по которому Господь сотворил Мироздание. Так было и во времена Христа. В те времена, чтобы одолеть эту космическую тьму, Господь принёс великую жертву: отдал на распятие Своего Сына. Теперь же потребовались жизни тридцати миллионов советских, в том числе и русских людей, которые пали на войне, спасая мир от тьмы.

Его слушали: не кричали “Любо”, не проклинали, не аплодировали. Но не было в зале каменных истуканов. Луч, исходящий из сердца, согрел, осветил людей. В лицах исчезло ожесточение, улетучилась ненависть. И Бекетов, ощутив усталость, истратив в этой проповеди весь запас душевных сил, уже не в микрофон, уже без железного рокота, произнёс:

— Союз “красных” и “белых” был скреплён кровью Святомучеников Священной войны. Это и есть огненный стык, в котором соединился разорванный световод русской истории. Наши нынешние распри умолкают, когда просветлённым молитвенным взором мы видим золотую икону Великой Победы. Мы — её дети и внуки.

Ему негромко хлопали, кивали головами. Директор обратился в зал с просьбой не расходиться, ибо предстояло выступление хора местной филармонии.

Многоплодный хор вышел на сцену, мужчины — в чёрном, в белых ма尼шках, в галстуках-бабочках. Женщины — в длинных малиновых юбках, белых блузках. Встали стеной: женщины — впереди, мужчины — сзади. Когда успокоился ропот в зале, и высокая люстра осветила притихшие лица, хор запел. Словно из заречных лугов, из вечерних малиновых вод, нежно и тихо донеслось: “Вечерний звон, вечерний звон, // как много дум наводит он...” Эти возвышенные и печальные звуки сладко коснулись душ, в которых тут же смолкли гневные страсти, неутолённые боли, не отпущенные вины. Словно ангел полетел над вечерними холмами, притихшими нивами, далёкими посадками с золотой колокольни. И ты идёшь по дороге, окружённый этой мирной благодатью, и чья-то оброненная красная ленточка лежит в пыли. Тебе кажется, что ты уже шёл однажды по этой дороге в какой-то родной, милый сердцу город, где на открытой веранде ждут тебя любимые люди. Дым самовара, вазочка с черничным вареньем, та самая, что стояла в бабушкином старом буфете. И все обратили глаза на дорогу, по которой приближается к ним ненаглядный гость. И летят из лугов звуки далёкого колокола...

Хор умолк, и несколько мгновений зал зачарованно молчал, объятый сладкой печалью. А потом наградил певцов жаркими овациями.

Улеглось волнение. В тишине было слышно, как нащупывает первую ноту хор. А потом зарокотали басы, в них влились чудесные женские голоса. Возвышаясь над всеми звуками, волшебнно чистый, дивно пленительный голос запел: “Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. // Пусть солдаты немного поспят”. Мучительная сладость, и женственность, и бесконечная нежность тронули сердца, которые откликнулись обожанием на эту мольбу, упование на чудо, на избавление от мук. Летел над весенними рощами, лесными прудами, цветущей черемухой бесшумный ангел, ронял с неба чистейший звук. И ты снова идешь всё по той же вечерней дороге, в запелечном мешке гремит походная кружка. Ты замер у края леса, где в сумерках белеют берёзы. Слушаешь вещую птицу, которая воспевает эту дивную землю. Такое счастье — родиться на этой земле и сойти в неё, совершив завещанный путь.

Зал, умиленный, благодарный, аплодировал. Бекетов изумлялся этим русским песнопениям, которые льются из века в век. Неподвластные бедам и войнам, одухотворяют сердца, берегают в них великую нежность, упование на чудо, на избавление от смерти.

Хор подождал, пока смолкнут аплодисменты. Дрогнул, колыхнулся, как лес под порывом ветра и, распрямляясь, исполненный глубинной силы и свежести, запел “Прощание славянки”. Зал восторженно ожил, потянулся навстречу певцам. Могуче, громогласно хор воззвал: “Встань за веру, русская земля”. Зал приподнялся — все, как один. Стоя, воодушевленно, блестя глазами, люди вторили хору, готовые идти на зов, на священный бой за любимую, ненаглядную Родину.

Бекетов стоял, слыша, как ликует сердце, сколько в нём веры, любви. Как неразрывно связан он с этими незнакомыми, но родными людьми. С рыжебородым священником. С болезненным седовласым историком. С ветераном-орденоносцем. С усатым казаком. И когда умолк православный марш, и зал неохотно усаживался, в воздухе всё сияли отблески удалявшихся штыков, золотое шитьё знамён, слышался колёсный стук батарей.

Хор молчал, провожая отлетающий звук. И в этой таинственной тишине что-то вновь приближалось, бурно налетало, ошеломляло своей неистовой силой. “Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой, // идём на смертный бой за честь родной страны”. И как ослепительный свет, как ликующий порыв, как радостное преображение: “Артиллеристы, Сталин дал приказ. // Артиллеристы, зовёт Отчизна нас. // Из сотен тысяч батарей // за слёзы наших матерей, // за нашу Родину — огонь, огонь!” Все встали в едином порыве, все пели в счастливом упоении. Все верили, что близок конец унижениям, грядёт очистительное возмездие за все муки и поношения, что народ неодолим и бессмертен, ибо у него есть божественное предначертание, есть великая судьба и Победа.

Бекетов пел вместе со всеми. Встречался глазами с монархистом, который радостно открывал поющий рот. С казаком, который молодецки подкручивал ус. С рыжебородым священником, чей рокошующий бас катался над рядами, как гром.

Покидая зал, Бекетов думал, что проповедь его не напрасна, что бриллиант победной Звезды никогда не померкнет, что это и есть немеркнущий бриллиант Государства Российского.

Наутро он вновь пришёл на завод. Штурмовик, освобождённый от стрелянок, стоял перед закрытыми воротами цеха. Остроносый, пластичный, золотистый, он был окружён сиянием, беззвучно трепетал, стремился на волю, в небо. У самолёта собрались рабочие в касках, ветераны с орденскими колодками. Знакомый рыжебородый священник читал молебен, брызгал святой водой на фюзеляж, стреловидные крылья, на кабину, на скорострельные пушки. Директор произнёс напутственную речь.

Медленно растворились ворота. Пахнуло морозом, сверкнули снега, брызнула синева. Тягач вывел самолёт из цеха под солнце, и все шли следом, провожая машину.

Зазвенело, пахло жаром, за хвостом затрепетал стеклянный воздух. Машина, качая закрылками, покатила. Удалилась на край поля, и оттуда раздался рёв, могучий грохот и свист. Бомбардировщик пробежал и взлетел, исчезая в небе, накрывая снега шатром прозрачного звука. Невидимый, летел он над Сибирью, и люди прижимали ко лбу ладони, искали его в голубой бесконечности.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Из Новосибирска Бекетов полетел в Волгоград, где его ждали встречи с директорами оборонных заводов. Он хотел заручиться поддержкой технократов на предстоящих президентских выборах. Но помимо этой очевидной политической цели была и другая, потаённая, личная. Под Сталинградом в сорок третьем году, в ночь на Рождество погиб его дед, тридцати трёх лет отроду. Всю свою жизнь, с самой юности, Бекетов собирался отправиться в заволжскую степь, к хутору Бабуркин, где смыкалось кольцо Сталинградского и Донского фронтов, и армия Паулюса, выдираясь из мешка, шла на прорыв. Размыкала смертельный обруч. А её вновь заталкивали в стальной мешок. Посылали в бой штрафные батальоны. В одном из них сражался и погиб дед. И теперь он собирался исполнить обет: отыскать этот хутор Бабуркин, взять горсть земли, в которой присутствовал предсмертный вздох деда. Отвезти эту горсть на могилу бабушки, которая семьдесят лет прожила вдовой, ожидая неисполнимой слёзной мечты — чудесной встречи.

Он прилетел в Волгоград в морозный солнечный день и отправился на заводы. На одном наблюдал, как из громадного стального слитка вытачивают корпус атомного реактора для новой подводной лодки. С могучим неторопливым упорством вращался карусельный станок, срезая белую стружку. И в этом кружении рождался образ подводной громады, бесшумно рассекающей океанские толщи.

На другом заводе ему показали тяжеловесные машины, начинённые электроникой, управляющие полётом ракет. Эти стремительные ракеты полетят навстречу баллистическим ракетам противника, перехватят их высоко над землей и взорвут. И на землю осыплются растерзанные лохмотья.

Бекетов говорил с инженерами, убеждал, вовлекал в свой замысел. Одолевал их недоверие, осторожное сопротивление. Объяснял технологии “оранжевой революции”, перед которой бессильны ракеты и лодки: без единого выстрела она сожжёт государство.

Его слушали, соглашались, обещали поддержать Чегоданова. Утомлённый переговорами, опустошённый изнурительной ролью проповедника, Бекетов покинул общество инженеров и один, без провожатых, отправился в город.

Он медленно брёл по улицам, пересекал площади, рассматривал вывески магазинов, рекламы, витрины. Был окружён рокотом, гудками, людской толкотнёй. Город казался обыденным, скучным, лишённым единого архитектурного замысла. Эта незавершённость, несобранность рождала чувство, что среди видимых площадей и улиц таится другой, невидимый город. Не Волгоград, а исчезнувший Сталинград, что был истреблён налётами немецкой авиации, свирепыми уличными боями. Город-призрак с хороводом алебастровых пионеров.

Бекетову казалось, что нынешний город был скромной маской, надетой на другое, огненное лицо. И эти миловидные девушки, обогнавшие его. И тучный старик, выходящий из магазина. Пролетевшая мимо полицейская машина в фиолетовых вспышках. Ресторанная вывеска с большой деревянной ложкой. Все эти обыденные детали не могли скрыть того грандиозного, непомерного и кровавого, что носило имя “Сталинград”. Того жуткого трясения, от которого содрогалась вся целиком планета. Той схватки, в которой сошлись не армии, не народы, а космические силы. Одна из этих сил стремилась отменить план, по которому Бог сотворил мир. А другая, обливаясь кровью, охваченная пламенем, отстаивала божественный план. Здесь, в Сталинграде гнулась ось Мироздания, гибли одна за другой дивизии, пока эта

ось не выпрямилась. В Сталинграде, а не в Берлине была одержана мистическая Победа. Здесь стали рушиться и отступать несметные силы тьмы, в которые вонзались ослепительные силы света. Его дед, штрафник, умирая в заволжской степи, был Победоносцем.

Бекетов гадал, мог ли дед, проходя через город в составе воинской части, видеть эту белую, сверкнувшую за домами Волгу, это морозное, с белым солнцем небо, по которому летела стая галок. На мгновение ему показалось, что дед смотрит на пролетающих птиц его глазами, дед выдыхает из горячего рта облако пара, сквозь которое белеет Волга.

Среди зданий и проводов, дорожных знаков и отблесков солнца ему чудилась непостижимая тайна места, на котором сошлись в космической битве силы Мироздания. Неслучайность этого места, где находилось невидимое сердце мира. Это сердце чувствовал Гитлер — и отвернул свои армии от Москвы, направил их в Сталинград. Это сердце чувствовал Сталин — бросил весь ресурс государства, всю живую силу народа, всю энергию русской истории на защиту священного места. Тайнственное сердце продолжало биться. Продолжали дышать сердца погибших русских солдат. Продолжало дышать сердце деда. Бекетов шёл, не умея разгадать эту тайну, испытывал благоговение.

Внезапно перед ним предстал Мамаев курган. Вся гора от Волги до вершины была уставлена скульптурами, восходила ступенями, изрезана барельефами. Среди них трепетал оранжевый факел, который сжимала рука, протянутая из-под земли. Курган венчала громадная, до небес, женщина с мечом в руке, которая беззвучно кричала, поднимая в атаку огромную страну. На острие меча сверкало солнце, словно небесный луч соединял курган с высшими силами, указывал на священное место, где билось сердце мира.

Бекетов смотрел на курган, в котором остановилось время, замерли в небе пикирующие самолёты, застыли в воздухе снаряды и пули, оцепенели идущие в атаку батальоны. И только факел трепетал оранжевым пламенем, и напряглась выходящая из-под земли рука.

Бекетов охватывал взором грандиозный монумент. Испытывал священное благоговение, молитвенное воодушевление. Перед ним был храм, соединяющий Волгу — реку русского времени — с небом, в котором витали духи Света, мистические ангелы Победы. Женщина на холме была Родина, Богородица, Мать, богиня Победы. У ног её пылала лампада бессмертия. Это ощущение храма, в котором нашли упокоение души убитых солдат, ощущение таинственного и священного места, где находилось сердце мира, ощущение того, что где-то здесь, в морозном кристаллическом воздухе реет душа деда, — всё это было так остро и достоверно, что Бекетов снял шапку, поклонился и двинулся вверх по ступеням. Чувствовал, как омывает его русское время, и замерзшая Волга окружает своим сиянием.

Он поднялся по ступеням, и каждая ступень увеличивала в нём благоговение. Его звала к себе великанша и солнечный луч на её мече. Его звала Победа, которая была одержана дедом. И та Победа, что ещё предстояло одержать ему самому. Вдоль ступеней высились громадные, отлитые из бетона скульптуры. Раненый смертельно моряк повис на плече товарища, и оба они стремились в атаку. Убитый пехотинец припал к живому другу, и два их автомата продолжали бить по врагу. Эти парные скульптуры изображали расу великанов, которые одержали космическую Победу, и в каждом лице, составленном из бетонных углов и граней, ему чудилось лицо деда, угадывались черты фамильного сходства.

Он прошёл мимо факела, слыша немолкнущий гул огня. Ощутил лицом волну жара. Оказался в циркульном зале, где по стенам золотой смальтой были выложены бесчисленные имена павших героев. Этот поминальный список казался золотой рябью от налетевшего ветра. Этот ветер продолжал дуть из необъятных миров, и Бекетов, отыскивая на стене имя деда, чувствовал этот ветер Мироздания. Его глаза туманились от слёз, и поминальная скрижаль превратилась в золотые ручки. Он плакал, молился, каялся, испытывая вину перед дедом. Благоговел перед ним, успевшим бросить в будущее стебель, на котором возросла его, Бекетова, жизнь.

Его душа росла, его бессловесная молитва взывала к воскрешению тех, кто пал, пробитый пулей, оглушённый взрывом, рассечённый осколком. Он молил всесильную великаншу пустить его к деду, в то последнее сражение, когда штрафной батальон бросался в атаку, замыкая кольцо окружения, и дед, чей томик стихов Пастернака сохранился на книжной полке, чья крохотная фотография в лейтенантском мундире сберегалась в семейном альбоме, — дед бежал по снегу навстречу огненным вспышкам.

Бекетов сквозь золотое облако слёз ступил в пространство храма, расписанное художниками-баталистами. Панорама Сталинградской битвы была громадной фреской, на которой сливались воедино бесчисленные эпизоды сражения. Блестела тусклая Волга. На баржах и баркасах перебрасывались в город войска. Пикировали самолёты с крестами. Взметались фонтаны воды и огня. Скрежетали немецкие танки, и матрос с гранатой в руке метнулся под гусеницы. Сшиблись в рукопашной, и солдат, пронзённый немецким штыком, успел вонзить в своего убийцу десантный нож. Руина дома, охваченная дымом и пламенем, огрызалась пулемётным огнём, и в проёме окна виднелся солдат с кровавым бинтом на лбу.

Вся огромная фреска грохотала, стенала, озарялась вспышками пробежавших по небу молний. Бекетов был в центре сражения. Над ним истребитель с красной звездой шёл на таран, врезаясь в “Юнкерс”, превращая врага в чёрный взрыв. Два танка, немецкий и русский, израсходовав боекомплект, столкнулись в страшном ударе, и на танковой башне белела надпись “За Сталина”. Телефонист с оторванными руками лежал на земле, стискивая зубами концы телефонного провода.

Среди этого лязга и грохота, в скопище тел, в клубках рукопашной Бекетов искал деда. И вдруг увидел его. В полушубке, с винтовкой, утопая по колено в снегу, он бежал среди пулемётных трасс, и его лицо, озарённое предсмертным светом, было обращено к небесам, откуда изливалось на него сияние. Бекетов, исполненный любви и страдания, в слёзном порыве устремился к деду, прижимая к сердцу его пробитое тело.

Очнулся. Стоял на вершине кургана. Богиня воздела солнечный меч. Волга, река русского времени, текла из одной бесконечности в другую.

Директор оборонного завода дал Бекетову “Лендровер” с водителем, и Бекетов отправился в степь, туда, где значился хутор Бабуркин, уже не существующий, сметённый боями, метелями, лихолетьями. Степь была голой, позёмка перелетала шоссе, солнце блестело на наледях. Шоссе превратилось в просёлок с ребристым тракторным следом, с заносами, в которых медленно продвигался “Лендровер”. Скоро и просёлок скрылся под настом, под которым слабо виднелись обочины. Мощная машина ломала наст, вгрызалась в дорогу, вязла, таранила сугробы. Несколько раз Бекетов вылезал из тёплого салона и, задыхаясь, хрипя, толкал машину, умоляя, чтобы она пробилась к Бабуркину. Там поджидал его дед.

Наконец, они достигли извилистого русла запылённой речки, вдоль которой темнели редкие заросли, продуваемые степным сквозняком. Это и было место, где когда-то располагался хутор. Здесь заканчивалась Сталинградская битва. Здесь атаки штрафников замыкали кольцо. Здесь шли отчаянные ночные бои, в одном из которых пал его дед, тридцати трёх лет отроду. И если бы он встал сейчас из снегов, то был бы моложе Бекетова.

Бекетов, кутаясь в пальто, осматривал волнистые горизонты, голубые холмы и думал, что эту волнистую синь видел дед. Где-то вдоль реки располагалась траншея, из которой он выскочил в ночную метель и бежал, задыхаясь, навстречу грохочущим вспышкам. Здесь, в степном безлюдье, витала его душа. Здесь, в степной земле, таились отпечатки его бегущих ног.

Бекетов стал разгребать снег, пробиваясь к земле. Руки его замерзли, покрылись порезами, красными кристалликами крови. Он дышал на руки, и ему казалось, из-под снега доносится к нему тихий голос. Он добрался до земли, ледяной, с замерзшими травяными стеблями. Ножом рыхлил землю, откалывал мерзлые ломти. Принёс из машины деревянный ларец и наполнил стальной землёй. Верил, что в этой земле, среди корешков, частичек ржавчины, кристаллов льда присутствует дед. Его исчезнувшее дыхание. Его молодое лицо.

Вернувшись в Москву, он сел за руль и отправился на тихое подмосковное кладбище, где покоилась его бабушка. Она окружала его в детстве своим обожанием, светом бесконечной любви. И всегда, до самой кончины, когда она вспоминала погибшего деда, у неё дрожали губы и наполнялись слезами блеклые голубые глаза. Он страдал от этих рассказов, и ему казалось, что бабушка всё ещё надеется на долгожданную встречу, на чудо свидания.

Он приближался к кладбищу, положив на сиденье ларец. И ему казалось, что бабушка слышит его приближение — всё наполнилось ликующим трепетом, и небо, и земля, и морозное солнце, окружённое радугой, поют, торжествуют, готовят волшебную встречу.

Он прошёл мимо заснеженных могил, гранитных памятников, бумажных венков к тихой могиле. На кресте лежал снег, на розовом камне было начертано родное имя. Бекетов разгрёб снег и высыпал Сталинградскую землю, чувствуя, как она страстно коснулась могильной земли, пламенно в неё погрузилось. И ему казалось, что крутом благоухает листва, шумит в листве тёплый дождь, и молодой, обожающий муж обнял прекрасную молодую жену, и они уходят в чудесную даль, окружённые туманным дождём.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Елена и Бекетов сидели в кафе. Он рассказывал о своих поездках, о настроениях директоров-технократов, о протестном движении в городах-миллионниках. Кругом молодые люди лакомились сладостями. Сновали официанты, поднося ароматные чашечки кофе. Длинноволосый юноша упоённо работал на ноутбуке. Худосочная дама в очках читала газету. Елена смотрела на утомлённое лицо Бекетова, на тёмные линии, проступившие у рта, на платиновую седину, которой стало больше у висков. Видела, как он устал, — весь в тягостных думках.

Она протянула руку, коснулась пальцами бровей Бекетова, провела ладонью по волосам:

— Мы оба очень устали. Хорошо бы нам уехать хоть на несколько дней. Впереди будет столько ужасного.

— Как же нам уехать? Градобоев нуждается в нас.

— Он укатил на три дня в Петербург.

Бекетов смотрел рассеянно. Казалось, смысл ее слов медленно доходил до него сквозь заботы и гнетущие раздумья. Глаза его дрогнули, в них мелькнуло шальное веселье.

— погоди минуту, — он всстал, отошёл к стойке, где были разложены на тарелочках бесчисленные сладости и шипел, брызгал гущей кофейный автомат. Елена видела, как он говорит по телефону, улыбается. Догадывалась, что он шутит, острит. Вернулся к ней:

— Вставай, мы уезжаем.

— Прямо сейчас? Куда?

— Ты же хотела!

— Но надо домой зайти.

— Зачем? Машина у дверей.

— Но все-таки скажи, куда?

— Куда глаза глядят, — и опять в лице его мелькнуло шальное веселье и озорная радость.

Пока они ехали по городу, застревали в пробках, останавливались у вспалённых светофоров, Елену продолжали мучить страхи и дурные предчувствия. Когда они выбрались за кольцевую дорогу и покатали по Дмитровскому шоссе среди тяжеловесных фур, ей продолжало казаться, что в этих фурах движется вслед за ней весь груз её огорчений и страхов. Но когда шоссе опустело, и машина обрела скорость, полетела мимо подмосковных посёлков и рощ, Елена почувствовала освобождение. Страхи и напасти ещё гнались за ней, но машина с лёгким шелестом отрывалась от них, и они отставали. На душе становилось светлее, свободнее. Сидящий за рулем Бекетов был тем чудесником, кто принёс освобождение, увлёк в полёт среди полей и переле-

сков. Она не знала, куда направлен этот полёт, но веряла себя его крепким, сжимавшим руль рукам, его зорким глазам, в которых переливались снежные просторы, березняки, чёрные ели.

— Ты мне не скажешь, куда мы едем?

— Поверь, это прекрасное место.

Она верила, что это прекрасное место. Там она укроется с любимым человеком от разъяренных толп и ядовитых страстей, унижительных обманов и отвратительного раздвоения. Только он и она. И словно кто-то, летящий над ними, услышал её. Осыпал белой крупой. Дунул из полей белой метелью. Окружил вихрями. Помчал через дорогу снежные струи. Они оказались среди снегопада, который укрыл их своей летящей завесой, спрятал от случайных глаз, заслонил, как в сказке, от злой погони. Они улыбнулись друг другу. Бекетов достал телефон и выключил. Елена сделала то же самое. Теперь были отсечены все связи с городом, разорваны все тенёта, умолкли все назойливые голоса.

Снег шёл, мелькали редкие деревеньки, разрушенные колокольни. Иногда с воспалёнными фарами проносилась встречная машина. Появлялся на мгновение бредущий по обочине путник. А когда снег кончился, возник Углич со своими разноцветными лубочными домиками и синими куполами. Побежали деревеньки с чудесными резными наличниками. Елена умилялась, ликовала, славилась их побег и своё избавление.

Уже стемнело, когда они свернули с шоссе, покатались в густых елях по узкому асфальту. Остановились перед шлагбаумом, подле которого светило оконце будки. Вышел охранник с фонариком, осветив номер машины, отдал Бекетову честь и пропустил в еловую чащу. Редкие голубые фонари освещали снег. Дорожка привела к одинокому коттеджу. Уютно светили оранжевые окна. Они оставили машину, поднялись по хрустящим степеням, вошли в прихожую. Елена, снимая шубку, поняла, что именно об этом она мечтала, порываясь убежать из города, чтобы спастись от невыносимых забот.

Золотились деревянные стены. Из прихожей коридор вёл в соседнее, не освещенное пространство, где тёмным стеклом застыл бассейн. В гостиной жарко горел камин. На столе на блюде темнел кусок запечённого мяса. Стояла бутылка вина. В вазе светились яблоки, груши, свисала виноградная гроздь. В приоткрытую дверь виднелась спальня с таинственными шелками. Казалось, здесь недавно побывал гостеприимный хозяин, всё приготовил и скрылся, растворился в этих елях, снегах, голубых фонарях.

— Ты чудесник, — сказала она, протягивая руки к камину. Потом подошла к стеклянным дверям, ведущим на заснеженный балкон. — Ты говорил о чуде — вот оно и случилось!

Они сели за стол. Он резал ломтями мясо, которое было ещё тёплым. Наливал в бокалы вино. Держал бокал за хрупкое донце и, глядя ей в глаза, говорил:

— В этой безумной гонке, в этих треволнениях, где одна забота сменяет другую, у меня и секунды не было сказать, как я тобой дорожу. Как люблю тебя, как люблюсь тобой. Как мне дорог твой нрав, твой чудесный голос, твои дивные пальцы и сладкие губы. Ты моя единственная и неповторимая, Господь Бог создал тебя для меня, и я нуждаюсь в тебе. У меня было помрачение, когда я в тоске бросил всё и уехал, не простившись с тобой. Но если бы ты знала, сколько раз ты мне снилась. Будто мы идём по берегам каких-то волшебных рек. Или мчимся на машине, как тогда в Ницце, под огромными пернатными пальмами, сквозь которые сверкает море. Или входим в просторные храмы, где звучат песнопения, из купола летят аметистовые лучи. И не одного тревожного сна, ни одного дурного предчувствия. Только красота, нежность. Я привёз тебя сюда, в снега и ели, чтобы сказать, как ты мне дорога. Господь соединил нас, провёл через испытания, чтобы мы больше не расставались. Пью за тебя, моя ненаглядная.

Они чокнулись. Звон тихо плыл, не удаляясь. У Елены сладко кружилась голова. Сыпались угольки в камине. Глаза Бекетова, сияющие, очарованные, глядели на неё, и в них было обожание.

— Какое счастье, что мы убежали, — сказала она. — Мне больше ни-

кто не нужен. Никого не хочу видеть, слышать. Только ты. Разве мы не можем навсегда от всех убежать?

— Если хочешь, мы не вернёмся. Это заблуждение, моя гордыня думать, что от меня всё зависит. И ход истории, и судьба России. Какой это вздор! Мы крохотные пылинки, которые летают в солнечной комнате. Попадают в луч, загораются то красным, то золотым, и гаснут, меркнут навсегда. Это миг нашей жизни, дар, отпущенный Богом. Чтобы мы могли любоваться друг другом, и этими уголками в камине, и этой полосой света, в которой лежит упавшее покрывало с китайским драконом. Мы убежим навсегда. У меня есть сбережения. Поселимся в тихом городке, на родине двух цариц. Столько непрочитанных книг, столько чудесных стихов, столько божественных песнопений, которые звучат в монастырском храме у отца Филиппа. Скажи, и мы уедем.

— Уедем...

...Они лежали в темноте в постели, и она говорила:

— Мы больше не вернёмся туда, где готовится ужасное злодеяние. Там прольётся кровь, зазвучат выстрелы, погибнут люди. Но нас среди них не будет. Останемся здесь, среди краснобровых птиц и седых лосей, у заколдованной церкви, в которой горят венчальные свечи. И злодеяние нас минует.

— Какое злодеяние, дорогая?

— О котором говорил Градобоев.

— А что он сказал?

— Сказал, что скоро будет “Марш миллионов”, и он поведёт людей на Кремль. Войска станут стрелять, будет кровь, и президент Стоцкий отменит выборы. Чегоданов не сможет стать президентом, и Градобоеву откроется дорога в Кремль.

— Он так и сказал про кровь?

— Про кровь и про Кремль...

Она проснулась от внезапной тревоги. Бекетова не было рядом. Сквозь открытую дверь в гостиную она увидела, как он ходит по комнате и говорит по телефону. Светились телефонные кнопки, словно он держал в руке светящегося морского моллюска.

— Что случилось? — спросила она, когда он вернулся.

— Надо возвращаться. Прямо сейчас.

— Прямо ночью?

— Прямо сейчас.

— Ты уверен, что действительно нужно?

— Уверен.

В ней всё остановилось и обмерло. Она больше не спрашивала. Стала собираться.

Они возвращались в Москву, озаряя ночное шоссе светом хрустальных фар.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Чегоданов, слушая Бекетова, зло щурил глаза, сжимал побелевшие губы. Был похож на лесного зверя, который среди травы, прелых листьев и подземных грибов почуял запах железа.

— Это достоверные сведения?

— Мой доверенный источник из ближайшего окружения Градобоева.

— Значит, всё-таки пролитие крови? Залить брусчатку красной жижей?

— На определённом этапе “оранжевой революции” предусматривается пролитие крови. “Марш миллионов” состоится перед самыми выборами. Бойня, кровь, тебя объявят палачом народа. Евросоюз, американский Сенат, начнётся вселенский вой, и Стоцкий отменит выборы. Дума его поддержит. Ты отстранён. Назначат новые выборы, на которых победит Градобоев. Тебя осудят, как кровопийцу, станут возить в клетке по Москве, и родственники погибших закидают в тебя камнями. Когда мы приступали к исполнению нашего плана, мы допускали подобное развитие событий.

Бекетов ждал от Чегоданова гневной вспышки, истерических злобных упрёков. Но Чегоданов был тих и вкрадчив. Только щурил глаза, из которых лилась жестокая синева. Сжимал губы, в которых не было ни кровинки. Все его мышцы напряглись, как у чуткого хищника, готового отпрыгнуть, избегаая опасности, или метнуться вперёд, убивая врага.

— Каким маршрутом поведёт Градобоев свой “миллион”? Где он станет лить кровь?

— Они пойдут по Якиманке к “Ударнику”, чтобы перед Каменным мостом якобы свернуть на Болотную площадь. Кордоны милиции преградят им вход на Каменный мост. Градобоев направит народ на кордон. Пожелает его прорвать, чтобы перейти Каменный мост и атаковать Кремль. Кровь может пролиться на мосту, где будет схватка с полицией. Или у Троицкой башни, где навстречу толпе выйдут войска.

Бекетов видел: пепельно-серая громада “Ударника”, мокрый блеск пус-того моста. Золотая шапка Храма Христа, розовые стены Кремля. Медлен-ная, вязкая толпа движется по Якиманке. Флаги, транспаранты, невнятный гул мегафонов. У моста зыбкой лентой темнеет полицейский заслон. Слюдя-ной блеск шлемов, тусклый ответ щитов. Сужается горловина истории, сквозь которую стремится пройти русское время. Вновь сжимается под страшным давлением хрупкий кристалл государства, готовый расколоться на тысячи мелких осколков. И он, Бекетов, своей слабой волей, несовершен-ным разумением стремится управлять слепым движением времени. Влиять на угрюмый поток истории. Спасать беззащитный кристалл государства.

— Я предчувствовал это, — произнёс Чегоданов, — Предчувствовал за-говор, — его ноздри трепетали, словно он улавливал тлетворный ветерок из-мены. — В западной прессе началась охота за мной.

Бекетов чувствовал, какому давлению подвергается Чегоданов. Парали-зуется воля, затмевается разум. Множество чародеев и магов, колдунов и волшебников протыкают иголками его фотографии, сжигают его тряпич-ные чучела. Побуждают бежать, кинуться опростелью, оставить власть. От-дать в другие руки судьбу государства. Так его венценосный предшественник подписал в вагоне своё отречение, открыл путь чудовищной бойне, которая унесла в преисподнюю великое царство, а его самого утянула в Ганину Яму.

Бекетов видел, как дрожит и сжимается воля Чегоданова. Стискивается, словно стальная спираль, накапливая энергию для удара. Чегоданов, подвер-женный слабостям, баловень, не свободный от страхов и маний, сейчас ста-новился стальным правителем. Беспощадный защитник власти. Безупречный державник.

— Когда мы исполняли наш план и усиливали Градобоева, одновремен-но его ослабляя, мы страшно рисковали, — произнёс Бекетов. Видел, как играют белые желваки Чегоданова, а в глазах отливает синева топора. — Мы нагнетали давление в котле, не имея точных манометров, измеряющих это давление. И котёл мог взорваться. Мы рисковали не просто нашими с то-бой головами, но и судьбой государства. И эти риски сохраняются. Нам предстоит проделать ювелирную работу по управлению ядерным реактором в ручном режиме.

— Петр Первый в ручном режиме рубил стрельцам головы.

— Я собирал по элементам этот реактор, я знаю его устройство. И я же могу его разобрать, извлекаю составляющие его элемента.

— Что ты задумал? — Чегоданов смотрел мимо Бекетова, и губы его улыбались. Быть может, он видел сейчас картину “Утро стрелецкой казни”.

— Я наращивал толпу на Болотной площади, приводил к Градобоеву со-юзников. Создавал таран, способный пробиться в Кремль. Теперь я ослаблЮ этот таран, уменьшу толпу вдвое, уведу от Градобоева его союзников. Ослаб-ленную, уменьшенную вдвое толпу он поведёт на мост. Здесь его встретит кордон, и завяжется драка. Полиция пусть действует вполсилы, избегает уда-ров дубинками, чтобы, не дай Бог, у кого-нибудь ни лопнул череп. Головной отряд демонстрантов прорвёт кордон и вырвется на Каменный мост. Здесь их встретит мощный заслон, а в тыл ударит ОМОН и отсечёт от остальной толпы. Боевики Градобоева окажутся в ловушке. Их расчленият, обезвредят,

по одному уведут в автозаки. Всё это мы снимем на камеры и вечером покажем народу. Скажем, что так была сорвана попытка государственного переворота.

— Так и будет. Я вызываю шефа МВД, прокурора, председателя следственного комитета. Пусть очистят камеры в Лефортово. Пусть готовят следственные группы. Не меня, а их станут возить по Москве в железных клетках. Привезут и на Болотную, где рубили головы мятежникам и смутьянам. Я буду целовать крест в руках Патриарха, а они будут целовать топор в руках палача! — и снова в его глазах полыхнул синий отблеск, словно мелькнул топор.

— Сразу же после разгрома Градобоева, перед выборами, ты проведёшь в Москве победное шествие. Выступишь на митинге, сценарий которого я подготовил. — Бекетов торжествовал. Перед ним был железный лидер, в котором история обретала своё воплощение.

— Ты настоящий друг, Андрей, — сказал Чегоданов. — Но ты действешь не из чувства дружбы, а исходя из интересов страны. Ты истинный государственный. После победы мы начнём создавать новую Россию, великое Государство Российское.

Они обнялись. Бекетов чувствовал, как молодо играют гибкие мышцы Чегоданова.

Через час Бекетов был на телевидении у Немвროзова. Тот готовился к передаче и перед зеркалами шутил с двумя молодыми гримёршами. Те холили его красивое лицо, втирали кремы, пудрили, брызгали лаком на золотистые волосы. Немвროзов от их прикосновений щурил по кошачьи глаза. Вышел к Бекетову жизнерадостный, благоухающий, с повадками театрального любовника.

— Ты видел мою последнюю передачу? Как я расправился с этим чернявым жучком! Посадил его на иголку, и он корчился, шевелил лапками, а я его пинал, пинал, пинал! Говорят, я был великолепен.

— Ты поистине великолепен! В тебе есть что-то античное. Что-то от греческих героев. — Бекетов увидел, как расцвёл Немвросов с тех пор, как покинул уютную студию на третьеразрядном канале и обрёл репутацию кремлёвского телекиллера. — У меня к тебе срочное дело.

Бекетов извлёк из кармана флэшку, на которую накануне перенёс записи своих переговоров с оппозиционерами. Те фрагменты, где оппозиционные лидеры в запальчивости и нетерпимости за глаза поносят соперников, жёлчно обличая друг друга. Тогда, во время походов к Мумакину и Лангустову, к Шахесу и Коростылёву Бекетов лишь предчувствовал, что ему понадобятся эти тайно добытые записи. Теперь он нашёл им применение.

— Это что? — Немвросов вертел в руках флэшку.

— Это осиное гнездо. Сделай так, чтобы осы вылетели и искусали друг друга. Сделай так, чтобы Шахес ужалил Мумакина, а тот вонзил остриё в Лангустова, а Лангустов впрыснул яд в Шахеса, и все вместе они изжалили Градобоева. И чтобы, в конце концов, их клубок распался. Чтобы они, проклиная друг друга, разбежались и увели от Градобоева своих сторонников. Чтобы Градобоев, когда начнёт собирать толпу, не досчитался половины, и его таранный удар на Кремль обессилел. Пусть все эти оппозиционеры, как строители Вавилонской башни, загадят, залопочут, заверещат каждый на своём языке и разбегутся. И Вавилонская башня оппозиции рухнет.

— Великолепно, — воскликнул Немвросов, пряча флэшку. — Мы разворошим осиное гнездо, и они изжальят друг друга. Но скажи, Чегоданов понимает, какую работу мы делаем для него? Он умеет быть благодарным? Когда он победит на выборах и станет президентом, он вспомнит о нас? Он сделает тебя главой президентской администрации? Он назначит меня директором телеканала?

— Он умеет быть благодарным. Ты станешь директором телеканала.

— Он говорил?

— Говорил.

— Он не ошибётся, поверь. Я буду мочить всех его врагов. Буду превращать их в уродов, в животных, в отвратительных гадов и насекомых.

Но главная цель канала, как ты говорил, — это выстраивать образ новой России. России Чегоданова. Мы создадим ему образ великого правителя и преобразователя. Мы вернём России вождя. Мы ответим на глубинный запрос русского сознания, требующего вождя и заступника, духовного лидера и пророка. Мы станем создавать культ Чегоданова. Народ узнает о его сокровенном замысле возродить великую империю. Создать великое государство. Оснастить этой государство могучей идеологией. Собрать выдающихся художников и мыслителей, дипломатов и духовидцев. Мы вернём России образ мистического царства, которое предлагает гибнущему миру спасение. И в центре всего — Чегоданов. Ты думаешь, он пойдёт на это?

— Он уже пошёл.

— Замечательно! Ты великий человек, Андрияша. Мы два великих человека, и вместе мы непобедимы!

Они простились, и Немвровов, восторженный, артистичный, исчез в гринёрной среди блеска зеркал и нежного лепета женщин.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Градобоев собрал в своём штабе координационный совет оппозиции для обсуждения предстоящего “Марша миллионов”. В просторной комнате за овальным столом восседал сам Градобоев, бодрый, радушный, — не вождь, не лидер, а гостеприимный хозяин. Вокруг него расселись соратники. Мумакин — вальяжный, с крепким лбом, твёрдым взглядом неутомимого борца и мыслителя, наследника великих “красных” традиций. Подле него поместился Шахес, маленький, вёрткий, с насмешливыми и настороженными глазками, которые, казалось, мерили расстояние от каждого из присутствующих до двери, сквозь которую, в случае опасности, можно было бы улизнуть. Лангустов с измождённым, в складках и рубцах лицом революционера, узника, мучительного эстета, отчужденно и небрежно оглядывал своих соседей. Так оглядывают пассажиров, случайно оказавшихся в одном с ним купе. Прямо перед ним, расправив плечи, сощуриив холодные жестокие глаза, сидел Коростылёв, который, обменявшись рукопожатиями со всеми приглашёнными, достал чистый платок и отёр руку. Все они, преодолев антипатию, биологическую неприязнь, умирив гордыню, явились на зов Градобоева, признав за ним временную роль предводителя — кумира бурлящих толп, куда каждый из них согласился привести своих сторонников.

— Господа, — бархатным баритоном произнёс Градобоев. — Пусть скромный вид этой комнаты не скроет от нас грандиозности приближающегося момента русской истории, способного изменить судьбу государства, направить народную жизнь по новому руслу. Конечно же, я говорю о после завтрашнем дне, когда мы пройдем по Москве нашим “Маршем миллионов” и перевернём, наконец, мрачную страницу Чегодановской эры. Начнём писать историю свободной России, — Градобоев умолк, желая понять, не слишком ли напыщенны его слова, не вызывают ли они отторжения у слушателей. Но у всех были серьёзные лица людей, сопричастных истории. — Господа, наш союз будет отмечен летописцами, ибо он опровергает досужие домыслы, согласно которым оппозиция — это клубок жалящих друг друга змей. Мы перед лицом исторического выбора преодолели разногласия и соединились во имя России, во имя интересов народа, волю которого мы выражаем. И мы готовы взять на себя ответственность за судьбу государства, — Градобоев снова умолк, проверяя воздействие своих слов, и это воздействие удовлетворило его. — Мы должны вывести на наш “марш” полмиллиона человек. Для этого мы созовём всех наших сторонников, используем всё наше влияние, но полмиллиона разгневанных, требующих справедливости граждан сокрушат любые преграды ОМОНа, направят свой разящий психологический удар прямо в лоб Чегоданову. И он, уверяю вас, бежит из Москвы, откажется от выборов, и выборы будут отменены. Президент Стоцкий, он дал мне это понять, назначит новые выборы. И на этих выборах, совершенно легитимно, без пролития крови, мы придём к власти. — Градобоев торжеству-

юще оглядел соратников, убеждаясь, что они согласны с его верховенством. Готовы нести в общую копилку свою репутацию, волю своих сторонников, готовы сжать стенобитный кулак для удара по Кремлю. — Господа, на нашей предшествующей встрече мы согласились, что предстанем перед народом единой командой. Покажем людям возможность истинной коалиции, полифоническую красоту коллективного разума. — Градобоев моментально оглядел соратников, убеждаясь, что все они по-прежнему видят в нём будущего президента, согласны с той ролью, которую они получают в кабинете министров. — Мне бы хотелось сейчас согласовать лозунги, под которыми пройдёт наш “марш”. Я жду ваших предложений. Вам слово, господин Мумакин.

Предводитель левых откликнулся:

— “Вся власть — народу!”, “Земля — крестьянам!”, “Заводы — рабочим!”, “Бесплатное образование и медицина!”

— Под какими лозунгами пойдут ваши сторонники, господин Лангустов? — произнёс Градобоев.

— Наши лозунги предельно просты. “Чегоданова — в клетку!”, “Стоцкого — в клетку!”, “Всех министров — в клетку!”, “Зоопарк на Красной площади, вход бесплатный!” — Лангустов улыбнулся жестокой улыбкой, как если бы перед ним поблескивала окуляром французская телекамера.

— А что скажете вы, господин Шахес? — продолжал опрос Градобоев. — Ваши либеральные клубы и организации столь многочисленны, что, не сомневаюсь, ваша колонна будет пестреть лозунгами.

— Уж я и не знаю, это слишком ответственно. Что-нибудь миротворческое, примиряющее. Может быть, “Вернуть хасидам библиотеку Шнеерсона!”, если у них без неё пейсы отваливаются. Или направите в космос корабль, на котором еврей и палестинец полетят в одном экипаже, — и он завертелся, заёрзал на стуле, забормотал, защебетал что-то птичье, торопливое и абсолютное неразборчивое. Умолк, оглядывая всех маленькими тревожными глазками.

— Ну, конечно, — буркнул Коростылёв. — Заселять космос евреями! Мало там космического мусора...

Шахес вспыхнул было от этой антисемитской реплики, но промолчал, только гневно задвигал ножками.

— Господин Коростылёв, вы что-то хотели сказать, — Градобоев сделал вид, что не услышал едкой ремарки.

— Наши имперские лозунги просты, — чётко, по-офицерски отчеканил Коростылёв. — “Русские идут!”, “Русская армия — превыше всего!”, “Русское оружие — отточенный меч империи!”, “Кавказ будет русским!”, “Русский — значит весильный!”, “Слава России!” — он вызывающе осмотрел всех сидящих и, осматривая Шахеса, зло сощурился.

— Господа, — прочувствованно произнёс Градобоев. — Не это ли свидетельство нашего согласия? Нашего союза не только политического, но и духовного, и душевного. Залог того, что после победы мы сможем создать коалиционное правительство и дружно, эффективно работать во славу России.

Они продолжали совещаться, утверждали лозунги, подсчитывали число сторонников. Были готовы перейти в соседнюю комнату, где был накрыт стол, и официанты расставляли на скатерти хрустальные бокалы и рюмки.

Вошёл начальник охраны Хуторянин. Склонившись к Градобоеву, тихо произнёс:

— Иван Александрович, включите телевизор. Там такое начинается!

Градобоев включил широкий плазменный экран на стене, и все присутствующие молча воззрились на него.

На экране витийствовал язвительный и бесподобный Немвровоз. В розовой рубашке и артистическом шарфе, с жестами декламатора, с мужественным голливудским лицом, он комментировал кадры протестного митинга на проспекте Сахарова, где один за другим выступали Градобоев, Мумакин, Лангустов, Шахес.

— Всмотритесь в эти вдохновенные лица. Услышьте их пламенные речи. Вам покажется, что это — радетели о счастье народном, союз единомы-

шленников, братство во Христе. Но это — пауки в банке, которые жгут и кусают друг друга!

На экране возникла стеклянная банка, полная пауков, которые копошились, прыгали друг на друга, карабкались по скользким стенкам, сбивались в отвратительные косматые клубки. Членистые ноги, ядовитые клещи, пульсирующие ненавистью тела.

— Какая мерзость! — воскликнул Градобоев, — Этот Немвровоз — агент ФСБ, телевизионный киллер, получивший от Чегоданова лицензию на убийство. Но все их усилия тщетны. Мы действительно — союз единомышленников.

На экране Немвровоз эффектно жестикулировал, предлагая зрителям полюбоваться оппозиционными ораторами. Один за другим те выходили к микрофону и беззвучно открывали рты, воздевали кулаки, выдыхали струи пара. Все те же Градобоев, Мумакин и Шахес. И ещё — Коростылёв в чёрной форме, перетянутый портупеей, под чёрно-золотым имперским флагом, взметающий верх руку.

Немвровоз жестом факира смахнул с экрана изображения лидеров, и вместо них возник прозрачный террариум, полный змей. Они струились по стеклу, свивались в чешуйчатые клубки, открывали маленькие злые рты с раздвоенными язычками, кидались одна на другую, били в стекло мускулистыми пестрыми телами.

— Не верьте сладким речам и медовым посулам, — Немвровоз стучал пальцами по стеклу, и змеи кидались к нему, желая его ужалить. — Это не заступники народа, а клубок змей, которые стремятся в Кремль, желая превратить русскую святыню в мерзкий террариум, наполненный смрадом и ядом!

— Мерзавец, — произнёс Лангустов, — а ведь когда-то слыл приличным человеком.

Немвровоз повёл рукой, словно открывая занавес, и опять туманилась громадная, переполнившая площадь толпа, и опять у микрофона, беззвучно шевеля губами, появлялись знакомые ораторы Градобоев, Мумакин, Лангустов и Шахес. И в колонне националистов, под имперским стягом, вышагивал Коростылёв, что-то выдыхая в мегафон.

— Да не введут вас в заблуждение человеческие лица этих благородных господ. Это оборотни, не люди, а свирепые псы, которые готовы растерзать не только вас, но и друг друга.

На экране возникли собаки, которые грызлись, скалили мокрые клыки, кидались одна на другую, норовя вцепиться в горло. Их свирепые оскалы, брызги слюны, налитые кровью глаза, судороги ненависти и неукротимой злобы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Бекетов пришёл на Октябрьскую площадь, откуда начинался “Марш миллионов”. Нежное апрельское небо дышало целомудренной лазурью, асфальт был покрыт голубым влажным лаком, липы проснулись, и в голых рогатых кронах трепетал прозрачный туман. По Ленинскому проспекту летела, блистала, переливалась шелковистая лента. Из туннеля выплескивался на Садовое и мчался к Крымскому мосту шелестящий поток. Памятник Ленину, окружённый революционными солдатами и рабочими, был монументален и строг, но голубь, сидевший на голове вождя, нарушал воинственный пафос монумента.

Бекетов явился на площадь, когда начинала собираться толпа. Люди струйками сочились из выходов метро, всплывали из подземных переходов, вливаясь в просторную площадь, кружили у подножья памятника. Здесь было весело и светло, как в дни праздника. Народ явился в предвкушении развлечений и забав. Царило то радостное волнение, которое связано с долгожданным теплом, стуком женских каблучков, нарядными шарфами, блеском взволнованных глаз.

Было много молодёжи, дурашливых и смешливых студентов. Они забегали на постамент и фотографировались, а потом начинали шумно, беспричинно смеяться. Порхали стайки девушек, неуловимо похожих одеждой, причёсками, худобой, составляющих особое племя, наполняющее банки, конторы корпораций, рекламные фирмы, коммерческие бюро и издательства. Явились ярко одетые, в модных куртках и бантах, с экзотическими причёсками молодые люди — художники, стилисты, дизайнеры, модники ночных клубов, завсегдагаи “Comedy Club”.

Два мима с раскрашенными лицами играли невидимым мячом, подпрыгивали, пригибались, падали на землю, вылавливая из пустоты несуществующий мяч. Их окружали завороченные люди, водили глазами в пустоте.

Пожилый лысый саксофонист держал в руках серебряный инструмент, раздувал небритые щеки, целовал металлический мундштук, оглашая площадь печальными рудами, молодая женщина зачаровано слушала, и у неё, как у кенгуру, выглядывал из переносной сумки младенец.

Были истовые демократы с двадцатилетним стажем, истоптавшие не одну пару обуви в маршах и демонстрациях, с лицами, на которых держалось одинаковое выражение нетерпеливого раздражения, бурлящего негодования, тоскливой надежды на сокрушение несправедливого мира. Хромала, опираясь на палку, остроногая женщина в мятом берете и поношенном пальто. Её заостренное лицо, колючее плечо, седые прядки и кривая клюка указывали на далёкую, ей одной ведомую цель, к которой её двигала яростная и упрямая воля. Другая женщина, в неряшливом пальто и старомодной шляпке, экзальтированно выкрикивала: “Свободу политическим заключённым!”, раздавая листовки с требованием освободить арестованных танцовщиц из группы “Бешеные маргитки”.

Но было много и обычной интеллигентной московской публики, вполне обеспеченной, но с неутолённым чувством справедливости, которое во все времена попирает порочная, склонная к деспотизму власть.

Бекетов кружил в толпе, не находя в ней ни Шахеса, ни Мумакина, ни Лангустова. Не было и Коростылёва. Его план удался. Оскорблённые передачей Немвროзова, ненавидящие друг друга оппозиционеры не явились на площадь и не привели своих сторонников, значительно ослабив ударную силу марша. Однако разрозненные группы националистов, коммунистов и либеральных активистов размахивали красными, имперскими и радужно-яркими флагами, под которыми перемещались группы сексуальных меньшинств. И уже гудели в разных углах площади мегафоны, призывая толпу формировать колонны. Становилось всё больше репортёров, фотографов, телеоператоров, начинавших поиск сюжетов. Осторожно прокатили несколько полицейских машин, расплескивая фиолетовые брызги проблесковых маячков.

Вдруг среди многолюдья, бесформенных скоплений и сгустков, пробежала волна, повлекла толпу, словно потянули невидимый невод, улавливая людскую гущу. Все устремились в одну сторону. Туда же заторопились телеоператоры. Туда же колыхнулись флаги. Туда же зашагал Бекетов, стиснутый возбуждённой толпой. Там появился Градобоев. Охрана теснила людей, раздвигая толпу, прокладывая Градобоеву путь.

Градобоев был выше других. Возвышалась его непокрытая голова. Лицо показалось Бекетову огорчённым и бледным. Глаза возбуждённо блестели. Губы улыбались. Он ждал, когда его окружают журналисты, заблестят диктофоны, потянутся мохнатые, как пушечные банники, микрофоны, замерцают окуляры телекамер.

Журналисты брали у него интервью. Бекетов через головы улавливал обрывки фраз:

— Готовится грязная провокация... Выгодно пролитие крови... Пусть мировая общественность... Уроки Египта и Ливии...

Бекетов хотел угадать его душевное состояние. Следы нерешительности. Признаки травмы, полученной от измены соратников. Градобоев преодолел разочарование и растерянность. Был возбуждён и решителен, исполнен дерзкой энергии. Бекетов чувствовал, что он не отказался от своего жестокого замысла. Марш состоится, столкновение с полицией неизбежно.

Он увидел Елену. Она появлялась и исчезала в толпе, словно качалась на волне. Её лицо показалось Бекетову измученным и испуганным, и он испытал большую жалость, мгновенную вину, которая сменилось желанием поскорей к ней пробиться и выведать всё, что она знает о Градобоеве.

Он протиснулся, окликнул её. Она устремилась навстречу, и их сжало, стиснуло. Они стояли, прижавшись друг к другу среди гула толпы, рокота мегафонов, колыхания флагов.

— Мне страшно, — сказала Елена.

— Что Градобоев?

— Он был чем-то расстроен. Постоянно звонил по телефону. Скверно-словил, хотя с ним это редко случается.

— Будь рядом со мной. Не теряйся.

Активисты выстраивали колонны. Люди подчинялись окрикам, увещаниям, мегафонным командам. Передние ряды продвинулись по Якиманке к французскому посольству. Сзади огромно и слитно пучилась толпа. Градобоев стоял во главе, окружённый охраной. Сразу за ним выстроилась шеренга рослых молодцов в одинаковых тёмных куртках. У каждого на шее висел чёрный платок, который можно было натянуть на лицо. Бекетов угадывал в этих молодцах головной отряд, который первым вступит в бой с полицией, таранным ударом станет рассекать заслон.

— Первая колонна пошла! — гудел мегафон. — Вторая колонна пошла! — вторил ему другой. — Соблюдать интервалы! — рокотал третий.

Людская масса колыхнулась, словно облегчённо вздохнула и двинулась, расширяясь, занимая всю проезжую часть, с ровным шорохом тысяч ног. Бекетов и Елена шли рядом, уже не в тесноте, окружённые воодушевлёнными людьми, которых влекло в просторном жёлобе улицы. И в этом движении многотысячной толпы чудилась повелевающая безымянная воля, управлявшая могучей массой, — активистами, покрикивающими в мегафон, знаменосцами с пёстрыми флагами и самим Градобоевым, который сдвинул с места толпу, толкнул её, как камень с горы. И уже не управлял ею, а сам был во власти безымянной воли, подчинялся её слепому господству.

Бекетов смотрел на Елену, на её изящную кожаную куртку, отороченную мехом, на шелковый шарф, на пышные волосы, развеянные ветром. Её лицо было следным, истовым, словно она смирилась с судьбой, в которую её вовлекала слепая воля. Обессиленная, ждала, когда судьбы нанесёт свой жестокий удар.

Рядом семенила пожилая женщина, держа в руках бумажную иконку. За ней два молодых человека несли транспарант с надписью: “Чегоданов, беги из Кремля!”

Девушка несла веточку жёлтой мимозы. Несколько студентов танцевали, умудряясь не мешать движению, образуя внутри колонны плывущий вместе с ней хоровод. Красный флаг трепетал на древке, которое сжимал крепкий парень, норовя воздеть своё алое полотнище как можно выше. И где-то близко, заслоняемый людьми, играл саксофон. Печальный и возвышенный блюз парил над колонной, словно её сопровождало в небе невидимое крылатое диво. Бекетов всё это видел, чувствовал единую, охватившую всех волну движения, ощущал неотвратимую, влекущую волю. Это была его воля. Он направлял толпу к роковой черте, у которой остановится в своём грозном выборе русская история. Вспучится, взбурлит, нальётся кровью, стенанием, прежде чем выберет свой путь. Это он, Бекетов, невидимый в толпе, вёл её к роковому перекрестку. Слабый, малый и смертный, он управлял ходом русской истории.

Они шли по Якиманке, мимо роскошных витрин, стеклянных банков, чугунных решёток, аристократических фасадов. На тротуарах густо стояли люди. Одни приветственно махали, другие вливались в толпу, третьи фотографировали, желая запечатлеть пёстрое и нарядное шествие. Бекетов видел идущего впереди Градобоева, его упрямо наклонённую голову, крутые плечи, трёхцветный российский флаг. В этой наклонённой голове и упрямым стремлении чудилась мессианская вера, подобная той, что владела пророком, выводящим народ из плена. Градобоев казался статуей на носу корабля, в которую ударяли грозные ветры истории. Бекетов на расстоянии чувство-

вал, как стучит в нём сердце, напрягаются плечи, содрогаются мускулы. И от этих содроганий по колонне бежала судорога, упругая конвульсия, словно волна электричества, и Бекетов пропускал сквозь себя эти беззвучные толчки и удары.

Оглянулся на Елену. В её глазах стоял ужас. Она беспомощно на него озиралась:

— Господи, что же будет!

Он испытывал к ней слёзное сострадание, чувство вины, мучительную нежность. Хриплый мегафон активиста прозвенел над ухом:

— Просьба сохранять интервалы! Соблюдайте дистанцию!

Впереди появилась серая махина “Ударника”, цепь полицейского заслона и пустое пространство моста, за которым розовый, размытый, как акварель, возник Кремль.

Градобоев вышагивал во главе колонны. Трёхцветный российский флаг то заслонял ему глаза своим алым и голубым шёлком. То отлетал, открывая витрины, фасады, вывески банков и ресторанов. Он видел толпу на тротуарах, идущего рядом охранника Хуторянина, передававшего по рации команды, дюжих охранников, прикрывавших его со спины и боков, литой брусек боевого отряда с чёрными платками у подбородков.

Градобоев чувствовал спиной могучий вал, давивший на него слепым стремлением. Сотни тысяч безвестных людей вложили в него свою волю и страсть, поместили в него надежды и упования, отказались от личных, отдельных судеб, передав ему свою жизнь. Он принял этот чудовищный дар, от которого взбухало сердце, ломило восторгом грудь, слезились от волнения глаза. Он возглавлял марш, был поводырём и вождём, которого выбрал рок для исполнения великой задачи. И когда впереди, как гора застывшей лавы, возник “Ударник”, и выгнулся Каменный мост с полицейским заслоном, и за этой, блестящей щитами и шлемами цепью, за влажным горбом моста возник, как виденье, Кремль, Градобоев ощутил чудесную выпышку. Ликованье сменилось мгновенным страхом, а страх превратился в озарение, в котором открылось громадное, предстоящее ему свершение.

Полицейская цепь перегораживала устье моста, оставляя свободным сход на Болотную площадь, где темнели деревья и краснела трибуна. Пространство, разделявшее цепь и колонну, оставалось пустым и медленно уменьшалось с каждым шагом Градобоева, который чувствовал это пространство как упругую, не пускавшую в себя пустоту. Каждый шаг давался с трудом. Мост казался голубоватой воронёной пружиной, которая распрямится, ударит по толпе, отшвырнёт, смертельно оглушит Градобоева. Но розовый Кремль в чудесном сиянии манил, волшебю томил, звал Градобоева. Там, за куполами и башнями, за розовой стеной таилась драгоценная капля, стоцветный бриллиант, пленившей его своей магической силой, как пленял он многих до него, стремившихся в этот сказочный град.

Пространство между цепью и колонной сжималось. Градобоев шагал, чувствуя приближение невидимой, проведённой по асфальту черты, у которой ему предстоит совершить грозный выбор. Либо свернуть к Болотной, увлекая колонну, и там, среди деревьев, с трибуны повторить свои пылкие речи, под восторженный рокот толпы. Или, повинувшись давлению судьбы, колдовскому притяжению Кремля, двинуть на мост. Ударить всей мощью стотысячного тарана в зыбкую цепь полицейских. Прорвать и ревушей магмой, опрокидывающей заслоны, ворваться в Кремль, где в расписных палатах, онемевший от ужаса, притаился Чегоданов. И пусть его берёт разгневанный народ, вершит промыслительный суд истории.

Сердце страшно дрогнуло, он переступил черту и, обернувшись к Хуторянину, сказал:

— Пора!

И тот что-то булькнул в рацию. Бойцы головного отряда натянули платки на лица, нахлобучили вязаные шапочки. На белевших полосках лиц жестоко засверкали глаза.

Полицейские щиты и шлемы стремительно надвигались. Охрана, стиснув Градобоева, остановила его. Толпа стала их омыывать, катилась вперёд, а он

отступал, двигался встречь толпе, сдвигался к спуску на площадь. Слышал, как страшно лязгнуло, взвыло и ахнуло. Таран ударил в железо. Броневой клин врезался в цепь полицейских. Толпа, как кипящий вар, облепила щиты и шлемы.

Полицейский, потеряв щит и шлем, ошалело, как оглушённая рыба, пучил глаза, а его валили, топтали. Демонстрант упал на колени, и его дубасили с обеих сторон. Он клонился, заваливался, а его продолжали бить, словно вгоняли в асфальт. Двое схватились, коленями били в пах, топтались, хрипели, пока полицейский ни боднул головой демонстранта, и тот отшатнулся, получил вдогонку удар ногой, от которого туло рухнуло. И среди рукопашной, уклоняясь от ударов, двигались полицейские операторы с телекамерами, выхватывая лица демонстрантов.

Схватка напоминала жуткое нерестилище, которое трещало, бурлило, брызгало кровавой икрой и молоком. Слетали платки, открывались молодые ненавидящие лица, рты, изрыгавшие мат, расквашенные в кровь носы. Полицейские, потеряв щиты и дубины, бились, как борцы без правил, доставая ногами врагов.

Грохнул взрыв-пакет, на мгновение расшвыряв полицейских, но открывшаяся пустота вновь наполнилась яростными клубками. Полетела пластмассовая бутылка с бензином, полыхнула лихим огнём.

Заслон был прорван, цепь разомкнулась. Чёрная магма с рёвом потекла, заливая мост до перил и бронзовых фонарей.

Бекетов, отеснённый в сторону, видел взмахи дубинок, слышал лязг щитов. Под ногами у него валялся разорванный транспарант. Знаменосец с имперским флагом наклонил древко, действуя им, как копьём. Молодая женщина схватила на руки ребёнка, поворачиваясь спиной к ударам.

Бекетов увидел Елену, её смертельно-белое лицо, беззвучно кричащий рот. Ринулся к ней, рывками приблизился, схватил за рукав, и, почти отрывая его, потянул, выдирая из драки. Их подхватила толпа, которая стекала к Болотной, отделяясь от основного потока, льющегося на мост.

И уже из-под моста выбегали свежие силы ОМОНа. Блестели щиты и шлемы. Рассекали бегущую на мост толпу, отесняя обратно на Якиманку. Били в тыл головному отряду. От Кремля валили на мост войска, закупорили спуск, зажав демонстрантов в тиски. Подкатывали автозаки. На мосту ещё продолжалась драка, но демонстрантов уже тащили волоком, вбрасывали в автозаки. Ярость стихала. Рассечённая на ломти, толпа таяла, исчезала в уродливых железных коробках.

Бекетов видел Градобоева, что-то беспомощно выкликавшего в мегафон. Видел обморочное лицо Елены. Испытывал жестокое торжество, чувство победы, которую одержал над слепой историей. Заставил её следовать в заданном направлении.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Уже вечером Немвровов вышел в эфир со своей метафорической программой “Смута”. Бледный от волнения, с лицом театрального трагика, он возвестил о катастрофе, которая приблизилась к русскому порогу. О мятеже, который с великим трудом был остановлен, но не отступил, притаился, готовый полыхнуть оранжевым пламенем и испепелить, в который уж раз, Государство Российское.

На экране возникла колонна, чёрная смола, затопившая Якиманку. Транспаранты: “Чегоданов — беги!”, “Чегоданов, привет от Кадафи!”, “Градобоев — наш президент!” Возник Градобоев, с лицом вождя и пророка, с полубезумной улыбкой, шагающий в окружении знамён и цветов. И сразу — драка с полицией у въезда на мост. Дубины, щиты, удары ног, кулаков.

— Неужели снова авантюрист и разбойник ввергнет народ в братоубийство? Неужели морги наполнятся трупами русских людей? — трагически вопрошал Немвровов. И тут же возникали стеллажи морга и уложенные на них

обнажённые трупы — задеревеневшие руки, заострённые носы, разведённые врозь ступни.

Снова “Марш миллионов” — знамёна, плакаты: “Чегоданов, отдай награбленное!”, “Градобоев, вперёд, на Кремль!”. Истовое, с блуждающей улыбкой лицо Градобоева, розовое видение Кремля и — свалка на мосту. Оружие рты, лязги щитов. Молодой знаменосец бьёт заострённым древком в основание полицейского шлема.

— Люди русские, неужели нам опять суждены танки в центре Москвы, горящий город, брат, стреляющий в брата? Неужели злобный заговорщик, мерзкий чародей и колдун запалит пожар в центре святой Москвы?

Возник Белый Дом с дымящими окнами, чёрный от сажи фасад, танки, стреляющие прямой наводкой, и рыдающая женщина, возносящая руки к небу.

— Да, воистину, нам нужна великая Россия, а им, бесам тьмы, нужны великие потрясения, — патетически возглашал Немвровов, и в голосе его дрожала больная, готовая лопнуть струна. — Посмотрите на них, вот они — оранжевые бесы!

И снова колонна. Зоркая телекамера нашла в ней молодого мужчину с горбатым носом, гибким змеиным телом и плакатом: “Проведём гей-парад Победы в Москве!” Рядом две девушки целуют друг друга в губы, крутят страстными бедрами. Третья держит над ними икону и плакат: “Однополюсные браки заключаются на небесах!” И опять чудовищная драка. У полицейского отбирают щит, срывают шлем, тащат по асфальту, и какая-то женщина хлещет его букетом цветов, плюёт в окровавленное лицо. Лик Градобоева, надменный, счастливый — вершитель истории, хозяин человеческих судеб.

— Братья и сёстры, неужели попустим, чтобы в наших городах свистели пули и рвались снаряды? Неужели наши чудесные дома, дворцы, храмы, наши бульвары и парки станут выжженной землей?

И возникли картины разгромленного Грозного. Остовы домов, сторевшие танки, изглоданный снарядами дворец Дудаева, трупы на улицах. Из разорванного газопровода вырывается рыжее пламя, озаряет снега, и среди снегов, в коконе света — цветущая вишня, разбуженная адским огнём войны.

— Граждане России, это он, Градобоев, рвётся в Кремль по вашим трубам. Он строит свой храм из ваших гробов!

Градобоев шёл во главе колонны, как триумфатор, окружённый цветами и флагами. За ним тянулся бесконечный поток людей, ликующие, восхищённые лица. И этот поток, эти лица сменились погребальной процессией. Множество гробов плыло над толпой среди рыданий и слёз. Эти кадры текущих гробов повторялись ещё и ещё, и казалось, что процессии нет конца, и гробам несть числа. “Марш миллионов” превратился в похоронный марш, и это зрелище было невыносимо.

После передачи Бекетов позвонил Немвровову.

— Ты гений! Твои заслуги неопенимы! Когда мы победим, я поставлю перед Чегодановым вопрос, чтобы тебе дали канал. Мы накануне новых времён, и для этих времён потребуются новые символы, новый язык, новые метафоры. И на это способен только ты!

— Что бы я делал без тебя, мой учитель и вдохновитель! — воскликнул польщённый Немвровов, — Я приму от Чегоданова канал, если ты станешь моим личным опекуном и консультантом. Новой России без тебя не быть. Не Чегоданов, а ты — архитектор новой России! — и в голосе Немвровова была неподдельная благодарность и благоговение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

В апрельское воскресенье состоялись президентские выборы. Зашевелился огромный муравейник страны, и люди прилежно потянулись бесчисленными тропами выбирать себе матку. Избирательные участки в школах и домах культуры были украшены первыми цветами. Классные дамы, взявшие на себя роль председателей счётных комиссий, перелистывали списки, слов-

но школьные сочинения. Кабинки напоминали часовенки, в которых один за другим скрывались избиратели, сжимая заветный бюллетень. Наблюдатели, как зоркие ястребы, подмечали промахи и злоупотребления комиссий. Полицейские с дубинками охраняли священные алтари — прозрачные урны. Камеры наблюдения делали выборы гласными и открытыми. “Карусели” с наймитами кружили посреди участков, и наёмники по несколько раз отдавали свои оплаченные голоса. Проходили тайные вбросы фальшивых бюллетеней, где значатся “мёртвые души”. Подкупали стариков, отдающих свой голос за сотенную купюру. Одаривали водкой деревенских пьянчуг, падающих на землю тут же, возле участков. Нервничали губернаторы, следящие за голосованием в своих регионах. В тайных сводках спецслужбы извещали Центр о политической обстановке в губерниях. Неутомимые журналисты жаждали провокаций и скандалов. Работала электронная система ГАС “Выборы”, в которую не проникал ни один, даже самый въедливый наблюдатель, — машина, равнодушная к прозрачным урнам и телекамерам, с тайной, заложенной в неё математикой.

Люди шли выбирать себе правителя, насмотревшись агитационных роликов, начитавшись платных статей, надышавшись приторным воздухом предвыборных посулов и обещаний. Они верили, что новый правитель прибавит хоть малую толику к их скромным достаткам. Не желали думать, что этот правитель может послать их на войну, разорить их утлый уклад, ввергнуть государство в испытания, которые приведут народ к бунту, революции, распаду страны.

Градобоев, после разгона “Марша миллионов”, после бойни у Каменного моста, понимал, что случилась катастрофа. Чья-то безымянная беспощадная воля послала его в ловушку, ослепила, внушила умопомрачительный план и ввергла в погибель. Среди его сторонников начались аресты. Прокремлёвская пресса обвиняла его в попытке государственного переворота. Науськивала на него правоохранительные органы. Намекала на склады оружия, боевиков, снайперов, которые отслеживали маршруты Чегоданова. И, конечно, иностранные деньги, влияние американского посла, специалистов по “оранжевым революциям”. Страна бурлила, ужасалась, обыватель верил чудовищным слухам. И всё это накануне голосования сулило поражение.

Изведённый, с красными от бессонницы глазами, Градобоев явился на избирательный участок. Верный телохранитель Хуторянин окружил его плотным кольцом охраны. Сам шёл впереди, раздвигая стену журналистов, отводя рукой назойливые телекамеры и косматые микрофоны. Градобоев с деланным весельем принял от седой благовидной женщины бюллетень, скрылся в кабинке. Перечеркнул в бюллетене ненавистную фамилию “Чегоданов”. Сунул сложенный вдвое лист в щель прозрачной урны, напоминающей аквариум, стоявший когда-то в его детской комнате. Изумрудные водоросли, цепочки серебряных пузырьков и крохотные, как радуги, рыбки, гонявшиеся друг за другом.

Вышел из кабинки. Несколько журналистов, допущенные Хуторянином, поспешили задать вопросы:

— Позвольте узнать, Иван Александрович, за кого вы голосовали?

— За Россию, — улыбаясь, ответил Градобоев.

— Правда ли, что ваши соратники планировали захват Кремля и арест Чегоданова?

— Для меня и моих сторонников Конституция — превыше всего. Мы против насильственных действий.

— Вы не боитесь, что атака на вас в проправительственных СМИ предвещает грандиозную фальсификацию выборов? Уже поступают сообщения о злостных нарушениях и вбросах бюллетеней.

— Если власть украдёт у народа голоса, как она украла нефть, землю, алмазы, народ выйдет на улицу. И я буду вместе с моим народом.

Вопросы продолжали сыпаться, но Хуторянин увёл Градобоева, заслоняя его своим телом, усадил в машину, и они покатали в штаб.

В особняке было людно. Толпились журналисты, переговаривались политтехнологи. Члены штаба встретили Градобоева с повышенным воодушев-

лением, как встречаются пациента с тяжёлым диагнозом, стараясь скрыть правду. Елена была тут же, с болезненным несчастным лицом, умоляющими глазами, и вид этих беспомощных глаз породил у Градобоева едкое раздражение, желание причинить ей боль.

— Где же Бекетов? — спросил Градобоев. — Он учил меня Русской Победе. Так давайте праздновать!

По телевизору шли репортажи о голосовании в разных регионах страны — на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. То и дело включалась трансляция демонстрационного зала Центральной избирательной комиссии. Глава комиссии Погребец, бородатый, степенный, как старообрядец, зачитывал сводки голосований. Открывалась карта России, покрытая золотыми и зелёными пятнами, свидетельствующими о симпатиях избирателей. Золотой цвет принадлежал Чегоданову, а зелёный — Градобоеву. Золотой был яркий и свежий, а зелёный — с мутноватым оттенком. И в этом Градобоев усматривал дискриминацию.

И вдруг, о чудо, Погребец возвестил, что на Дальнем Востоке с небольшим отрывом побеждает Градобоев. Это сообщение вызвало в штабе взрыв ликования, аплодисменты. Все кинулись поздравлять Градобоева, а в нём брызнула радость, как брызжет в разрыве туч летящее солнце.

Журналисты окружили Градобоева, наперебой спрашивали:

— В случае победы, кто будет вашим премьер-министром?

— Есть ли шанс у коммунистов войти в правительство?

— В своих предвыборных речах вы обещали начать расследование злоупотреблений прежней власти. Ваши обещания в силе?

Градобоев отвечал, иногда шутил, иногда говорил с непреклонной волей и твёрдостью, как власть имеющий. В штабе царил воодушевление. Кто-то принёс цветы. Кто-то бросился открывать шампанское. Но скоро воодушевление угасло. Дальневосточные голоса сравнялись, а потом вперёд вырвался Чегоданов.

— Мерзавцы! Фальсификаторы! — тоскливо произнёс Градобоев.

День длился. Всё новые регионы в Восточной и Западной Сибири завершали голосование, подводили итоги, и повсюду с подавляющим перевесом побеждал Чегоданов. И в селах, и в мегаполисах, и в промышленных центрах, и в заподёрнутых стойбищах, и в гарнизонах, и на кораблях дальнего следования. Градобоев понимал — это был разгром — разгром повсеместный, необратимый, испепеляющий его судьбу, отдающий его во власть жестоким циничным победителям, которые уничтожат его.

Журналисты покидали штаб Градобоева. Перемещались туда, где царил победитель. Градобоев с презрением смотрел, как они укладывают камеры и осветительные приборы, отводят блудливые глаза, уходят, не прощаясь. Один из них напоследок протянул Градобоеву мохнатый микрофон и нагло спросил:

— Господин Градобоев, вы намерены поздравить господина Чегоданова с победой?

— Это воровская победа, как и всё, что связано с Чегодановым! Уже сегодня я призову народ выйти на площадь и потребовать отмены фальшивых выборов! Народ — не быдло! Народ имеет право на восстание!

День тянулся тоскливо, Градобоев томился, с отвращением ожидая появления старообрядческой бороды Погребца. Тот сытым спокойным голосом возвещал об очередной победе Чегоданова. Пристрастия избирателей распределялись в пропорции “восемьдесят” к “двадцати” в пользу Чегоданова, и вес Чегоданова неуклонно увеличивался. “Ты взвешен и найден слишком лёгким”, — язвили память Градобоева библейские слова, звучавшие для него, как приговор. Не политический, а приговор всей его жизни, всем его устремлениям и мечтам. Неведомой волей он был вовлечён в западню и там уничтожен. И больше никогда не явится ему пленительная драгоценная капля — радужная Божья росинка, утренний бриллиант, который вёл его, словно путеводная звезда, от той утренней детской лужайки в Кремль.

Елена мучилась, боялась подойти к Градобоеву. Видела, как тот страдает, ненавидит, бессильно мечется, хватается за телефон, связываясь со сто-

ронниками в регионах. Замечала, как пустеет вокруг него пространство, как трусливо бегут те, кто недавно клялся в любви. И не было рядом Бекетова, не было его горящих верящих глаз, его пламенного вдохновляющего голоса. Елена много раз принималась звонить Бекетову, но его телефон был заблокирован. Опять её душа металась в раздвоении. Она стремилась спасти Градобоева, уберечь Бекетова, обоих окружить своей женственностью.

Наконец, в полночь были объявлены предварительные итоги голосования по всей стране. Это был оглушительный разгром Градобоева. За Чегоданова проголосовало восемьдесят два процента избирателей.

Показывали штаб победителя. Ломились журналисты. Ликовали министры, депутаты и губернаторы. Чегоданов, изящный, гибкий, то и дело исчезал в чьих-нибудь объятиях. То обнимался с режиссёром Купатовым. То тряс руку главе администрации Любашину. Президент Стоцкий целовал Чегоданова, счастливый и просветлённый, передавая обратно бремя непосильной власти. За спиной Чегоданова маячил телохранитель Божок со своим мягким, похожим на коровье вымя, лицом. Черноволосая, страстная, как цыганка, Клара прильнула к Чегоданову своими пунцовыми губами. И вдруг Чегоданов, разомкнув круг обожателей, пошёл навстречу человеку, которого сам выбрал в толпе. Обнял его, горячо прижал к груди. Градобоев, с тоской взвизгивающий на экран, и Елена, не знающая, чем утешить несчастного, — оба узнали в этом человеке Бекетова — именно его прижимал к себе Чегоданов. Бекетов улыбался, обнимая за плечи победителя. Официанты несли на подносах шампанское, и первым, с кем чокнулся Чегоданов, был Бекетов, который радостно до дна опустошил свой бокал.

— Это что? — с ужасом прошептал Градобоев, обращаясь к Елене. — Что это?

Она не отвечала, прикрыв ладонью дрожащий рот.

Градобоев водил своими воловьими глазами, как бык, получивший в лоб удар кувалды. Всё плыло, туманилось, покрывалось кровавой поволокой. Чудовищный обман, лютное предательство двигали окружавшими его явлениями, перемешивали и меняли местами события, людей, смыслы. Огромная бетономешалка месила окружающий мир, в котором ревели толпы, грохотали щиты и дубины, розовел Кремль. И всё перевертывалось, погружалось в тёмную гущу: и он сам, и висящий на стене предвыборный плакат с его портретом, и эта женщина, которая привела к нему предателя, впустила змею и теперь смотрит на него своими лживыми прекрасными глазами, что он так любил целовать, угадывая в них ответную безумную страсть.

— Сука, — сказал он шёпотом. — Сука рваная. Пошла вон!

Елена слабо вскрикнула.

— Уйди, а то убью! — прохрипел Градобоев, толкая её к дверям.

— Послушай меня, — слабо сопротивлялась она.

— Шлюха! Ненавижу! — он ревел, воздевая над ней кулаки, потом вышвырнул из комнаты, слушая, как удаляются её рыдания. Сел на диван, стиснул скулы ладонями и, раздвигая в оскале губы, завыл, как воет одинокий волк.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В штабе Чегоданова, в Доме Правительства, ликовали. Победно сверкали люстры. Валом валяли чиновники, генералы, олимпийские чемпионы, деятели искусств. Разносили шампанское. Сверкали вспышки фотокамер. Чегоданов отвечал на приветствия, обнимался, находился в центре клубящегося вихря. Но был отделён от всех незримой мембраной, сквозь которую не проникали поздравления, здравицы, признания в преданности и любви. Он чувствовал, как вновь, спустя четыре года, стягиваются к нему силовые линии власти, и он обретает утробное могущество, таинственное величие, которым питает его громадная молчаливая страна. В его душу и плоть, разом и память, в отяжелелые глазницы и онемелый язык льются загадочные потоки с туманных небес, наделяя непомерной властью, отягощая непосильным

бременем. Двигают в бестелесную пустоту, откуда дует чёрный сквозняк истории. И он, так страстно рвавшийся к власти, страшится неотвратимого будущего, где, быть может, притаилась его погибель. Но уже не отступит, не убежать. Повинуясь вышней воле, он возьмёт на себя это бремя и понесёт его, как несли былые правители, исчезнувшие цари и вожди, среди народного обожания и ненависти.

Режиссёр Купатов, глава предвыборного штаба, воздел бокал шампанского. Обводя увлажнёнными глазами участников торжества, старался поймать взгляд Чегоданова:

— Господа, быть может, у кого-нибудь во время предвыборной кампании возникали сомнения в её победном исходе, но только не у меня. Я верил и верю в наш мудрый и прозорливый народ, который выбрал своего, народного президента. Того президента, который олицетворяет народные упования и надежды, черты народного духа и характера. Фёдор Фёдорович Чегоданов — народный президент, он офицер и мудрец, рачительный хозяин и набожный христианин, он взирает вперёд, не забывая о прошлом. Он владеет истинной формулой власти, которая звучит так: “Любить народ и бояться Бога”. Дорогой Фёдор Фёдорович, вы оценили нашу верность и преданность, нашу способность работать. Теперь, когда вы президент великой России, надейтесь на нас. Мы ваша гвардия. Поздравляю! — и он картинно чокнулся с Чегодановым, выпил бокал и разбил его об пол.

Пока проворные официанты подбирали осколки, спич произносил глава президентской администрации Любашин:

— Господа, любая перемена власти таит в себе много опасностей. “Оранжевая революция”, которую остановила победа Фёдора Фёдоровича Чегоданова, сулила нам великие потрясения. Но благодаря выдержке, воле и прозорливости Фёдора Фёдоровича, враг отступил, и оранжевый зверь, подобный тигру, превратился в маленькую кошку, которая забралась в дупло и смотрит оттуда настороженными злыми глазками. Бог любит Чегоданова, поэтому Он привёл его к победе. Бог любит Россию, поэтому Он подарил ей Чегоданова. Дорогой Фёдор Фёдорович, поздравляю и заверяю вас в нашей любви и верности! Вместе всегда победим! — Любашин залпом осушил бокал, но не стал его бить, а осторожно поставил на пол, откуда его ловко подхватил официант.

Теперь говорил Валентин Лаврентьевич Стоцкий, всё ещё президент, но уже поблекший, утративший плотность, пустой, как кокон, из которого упорхнула бабочка. Он с обожанием смотрел на Чегоданова, пузырьки летели в его бокале, и сам он был лёгкий, как пузырёк:

— Дорогой Фёдор, все ликуют, поздравляя тебя с победой. Но только я знаю, что эта победа наваливает на тебя неподъёмную тяжесть. Тяжесть управления такой страной, как Россия. Когда ты четыре года назад передавал мне власть, я не представлял себе, сколько она весит. А весит она столько, сколько весит земной шар. Дорогой Фёдор, поздравляю тебя, я возвращаю тебе в сохранности то, что принял четыре года назад. Возвращаю Россию, где в сохранности каждый город, каждая деревня, каждая речушка. Ты убедился в моей верности и любви. И впредь наш союз нерушим, и мы с тобой неразлучны. За твою Победу, за наш союз! — они обнялись с Чегодановым. Пили шампанское, глядя друг на друга сквозь золотой напиток.

Среди победителей присутствовал и тележурналист Немвровов, чей вклад в победу был несомненен. Улучив момент, он подошёл к Чегоданову, держа бокал за хрупкую ножку:

— Фёдор Фёдорович, с победой вас! — он скромно поклонился, не позволяя себе вольного взгляда, понимая, какая дистанция между ним и всемогущим президентом, и тот милостиво чокнулся с ним.

Чегоданов поднял руку, прекращая шум. Все замерли, заворуженно, влюблённо глядя на своего президента. Чегоданов обвёл всех благодарными глазами, и все знали этот мягкий, вкрадчивый взгляд, суливший высочайшее расположение, милость, воздаяние за верную службу:

— Вы все работали безупречно, друзья мои. Мало кто может похвастаться такой образцовой командой, как наша. Вы все — высочайшие профес-

сионалы, все спаяны одной целью, и эта цель — наша ненаглядная Россия. Будем работать во имя России. За Россию! — он выпил среди бурных рукоплесканий.

Бекетов испытывал утомление и благодное тепло, которое сменило ужасное, длившееся месяцами напряжение. Исчез близкий к срыву мучительный страх перед возможной ошибкой, сулившей катастрофу. Теперь, среди сверкания люстр и нежного стеклянного звона бокалов он оттаивал, наслаждался. Знал, что эта передышка — на час. Уже завтра его вызовет Чегоданов, предложит пост в администрации. Начнутся консультации по составу правительства, утверждение губернаторов, генералов в силовых министерствах.

Начальник охраны Божок перерыве между тостами, спросил:

— Фёдор Фёдорович, а что будем делать с этим разбойником Градобоевым? Мне сообщили, что он созывает народ, хочет вести его к Дому правительства.

— Он не опасен, — легкомысленно отмахнулся Чегоданов. — Он смертельно ранен и уползёт в лес умирать под корягой.

— Может, ему помочь уползти?

— Он больше не волнует меня. Забудем о нём навсегда.

— Будет сделано! Забудем навсегда! — шутовски щёлкнул каблуками Божок, приложив ладонь к виску. И Бекетов вдруг увидел красные угольки жестокости в смеющихся глазах телохранителя. И его пронзила мысль о Елене, о которой он не думал весь этот грохочущий день. И мысль о Градобоеве, который мечется, как подранок, погружаясь во тьму своего поражения. Бекетов отошёл в сторону, стал звонить Елене, но её телефон молчал.

Между тем Чегоданов подошёл к Стоцкому, который мило беседовал с режиссёром Купатовым. Взял его дружески под руку:

— Прости, Валя, я на минуту тебя отвлеку, — и повёл в соседнюю комнату, где можно было уединиться во время ночных неусыпных бдений и оперативных совещаний. Провёл Стоцкого к столику, на котором стоял компьютер. Вернулся к дверям и плотно их закрыл. Убедился, что и вторая дверь, ведущая из комнаты, тоже закрыта.

— Что ты мне хочешь сказать, Федя? — улыбался Стоцкий.

Чегоданов достал из кармана флэшку, вставил в компьютер. Зазвучал голос Стоцкого, дрожащий от страсти:

— Если бы вы знали, господин Градобоев, как вас ненавидит Чегоданов! Как вас боится! Вы для Чегоданова смертельный враг!

— Федя, это ложь, подделка! — воскликнул Стоцкий. — Не верь, Федя! Нас хотят посорить!

— Молчать! — оборвал его Чегоданов.

Стоцкий был бледнее белого листа...

...Позднее Чегоданов увёл Бекетова в соседний кабинет.

— Андрей, — Чегоданов усадил Бекетова на диван с золочёной спинкой, движением осторожным, но властным. — Я должен тебе это сказать теперь, в первые минуты моего торжества. Я безмерно тебе благодарен. Ты пришёл мне на помощь в трудную минуту, позабыв обиду, и тебе были важны не наши с тобой отношения, но судьба государства. Не знаю, одержал ли бы я победу, окажись рядом со мной кто-нибудь другой, а не ты. — В лице Чегоданова была твёрдая ясность, спокойная уверенность, словно и не было недавних бурь, нервных срывов, тоскливого ожидания. Власть, что он получил, разгладила мучительные морщины, наполнила тихим светом глаза. Исполнила сил, которые не таили в себе угрозы другим, а только твёрдое превосходство.

— Но теперь, когда мы победили, и враг повержен, теперь, Андрей, мы должны расстаться. Наступает совсем иная пора, где мне не нужны пылкие поучения и религиозные проповеди, исторические примеры и уверения в моём мессианстве. Мне это будет мешать. Я сам знаю, как управлять государством, как выстраивать отношения с элитами, как ладить с народом, как балансировать среди групп, от которых получил власть и которые наблюдают за каждым моим шагом. Предвыборный театр окончен. Начинается реальное управление, в процессе которого ты будешь мне помехой. Вначале мы ста-

нем сглаживать наши конфликты, но, в конце концов, они обретут открытую форму, наша ссора станет достоянием гласности и пойдёт во вред стране. Совсем как ссора царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона. Поэтому расстанемся сейчас, когда наши отношения безупречны. Я преисполнен к тебе самой высокой благодарности, самого чистого дружелюбия.

Бекетов слушал и удивлялся своему спокойствию. Казалось, он ожидал этого объяснения. Его на время заслонили бурлящие марши и митинги, виртуозные комбинации, дерзкие решения на краю катастрофы, которая, случись она, накрыла бы их обоих вместе с гибнущей страной. Но теперь, когда край беды отодвинулся, наступила пора расстаться. И он, “собинный друг царя”, должен покинуть царский терем. Оставить расписные палаты и удалиться в изгнание, к северным монастырям и озёрам, на которых кричат дикие лебеди.

— Ты можешь обвинить меня в неблагодарности, в вероломстве. Но ты сам говорил, что в политике действует совсем другая мораль. Морально то, что способствует возвышению государства. Мерилом людских отношений является только одно — судьба государства. Поэтому я прошу тебя удалиться. Ты ни в чём не будешь испытывать недостатка. По первому зову я кинусь к тебе на помощь. Но теперь мы расстанемся.

А у Бекетова — сладкое головокружение, упоительное прозрение.

— Я согласен с тобой, Фёдор. Я уеду. Помогай тебе Бог.

Они обнялись и вышли вдвоём в гомон, смех, звон бокалов. Хмельные генералы шли за русскую армию. Министры обсуждали цены на энергоносители.

Бекетов ушёл, не прощаясь.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

...В ночном городе Бекетов искал Елену. Её мобильный телефон не отвечал. Не отвечал и домашний. Он позвонил в штаб Градобоева, но нелюбезный голос ответил, что пресс-секретаря здесь нет. Елена присутствовала в этом ночном, не желающем уснуть городе среди порывов сырого ветра и дождевых брызг. Её кружило в водоворотах, ударяло о выступы зданий, слепило ошалелыми фарами. Её окружало несчастье, ненависть, презрение, и он был тому виной.

Наконец, он решил поехать к её дому на Трифоновской и у ворот караулить её, как бы поздно она не вернулась. Он стоял у чугунной решётки, заслоняясь от дождя, глядя на фасад, где погасли почти все окна. Лишь несколько оранжевых окон — свидетели чьих-то бессонниц — продолжали гореть. В далёком прогале ртутно светилась улица. По ней размытые, как шаровые молнии, проносились огни. Он ждал, когда её машина вынырнет из прогала, остановится у ворот, и она, усталая, выйдет открывать замок. Он обнимет её, поцелует любимые глаза, всё объяснит, и они, свободные, любящие, уедут из этого грозного города. Унесутся в лазурь, где их ждет восхитительная бесконечность.

В проёме зажглись фары, надвинулись, ослепили. Знакомая машина остановилась перед воротами. Елена вяло вышла, приблизилась. Бекетов выскользнул из тени, кинулся к ней.

— Это я, не бойся! — он увидел, как она отшатнулась. — Я ждал тебя, волновался.

Он хотел обнять её, но она шарахнулась, отгородилась руками.

— Это я, Лена!

— Не подходи!

— Лена, я тебе всё объясню... Я не мог тебе рассказать... Всё оставалось в тайне...

— Ты поступил, как мерзавец! Использовал меня, низко, гадко.

— Это было необходимо... Не ты и не я... Решалась судьба государства... Но теперь всё кончилось. Мы свободны. Мы можем уехать.

Он попытался её обнять, но она отшатнулась:

— Я тебя ненавижу!..

— Подожди, я всё объясню. Мы свободны. Мы можем уехать, и нас никто не достанет. Только ты и я. Книги, стихи, природа. У нас будет семья, ты родишь мне ребёнка. Нам будет чудесно, поверь!

— Посмотри на себя, ты ужасен! У тебя не губы, а шевелящиеся черви! У тебя не кожа, а чешуя! У тебя на руках — когти, а между пальцев — перепонки! Где ты появляешься, там смерть, разрушение! Ты предал меня, Градобоева, предал множество прекрасных людей. Теперь им грозит арест, тюрьма, даже смерть!

— Подожди! — Бекетов чувствовал, что теряет её. Она удаляется навсегда, и он не в силах её удержать. — Этот Божок, его красные жестокие угольки... Он сказал: “Забыть навсегда”. Градобоев в опасности. Его надо предупредить!

Он обнял её, но она с силой его отшвырнула.

— Ненавижу!

Запрыгнула в машину. Фары ослепили его. Машина попятилась, развернулась и исчезла в проёме, брызнув рубином.

Бекетов стоял ошеломлённый, и дождь наносил ему хлёсткие пощёчины.

Елена мчалась к штабу Градобоева с ужасным предчувствием. Это она, в своей слепоте и доверчивости, стала причиной страшного зла и привела Градобоева к гибели. Эта гибель приближалась к Градобоеву по ночной Москве, и надо её упредить, заслонить Градобоева или погибнуть вместе с ним. Она много раз принималась звонить, но телефон Градобоева был заблокирован. Она представляла, как он мечется в опустелых комнатах, одинокий, отравленный, без недавних друзей и сподвижников. И только она одна может его утешить, вдохновить, вернуть ему волю. Упредить неведомую беду.

Москва в чёрном дожде пылала синей ргутью, брызгала белой плазмой. Дома казались огромными сосудами, в которых полыхал огонь, плескалось липкое пламя. Под колёсами извивались разноцветные черви, из которых струилась красная, зелёная, желтая жидкость. То падало с неба фиолетовое пернатое чудище, то всплывала из глубины огненная, с раскалёнными жабрами рыба. Навстречу летели сверкающие медузы, бесшумно расплющивались о стекло. Её опутывали водоросли, ядовитые многоцветные стебли, сочно хрустевшие под колесами. Едкие, с мокрыми лепестками, цветы, бились о стекло, норовили ужалить. Рекламы, как громадные светила, — лиловые, изумрудные, рубиновые — проплывали над крышами. Она не узнавала Москвы, которая казалась бредом, больным сновидением.

Переулок у набережной, где находился штаб Градобоева, был перекрыт полицейскими. Елена бросила машину на набережной, где гигантский Пётр в пятнах туманного света казался колючим перепончатым динозавром, вставшим на задние лапы. Она прошла сквозь кордон полиции. Перед особняком толпился народ. Гудел мегафон: “Градобоев — наш президент!” Под фонарями светлели плакатики: “Чегоданов, ты украл голоса!” Елена, глядя на балкон, на занавешенные светящиеся окна, снова пыталась звонить. И опять безуспешно. Она протолкалась к дверям с кнопкой домофона. Нажала. Голос спросил:

— Кто?

— Я Елена Булавина.

— Приказано не пускать.

— Я пресс-секретарь Градобоева.

— Не велено, — и голос пропал.

Елена в отчаянии отступила. Стояла в толпе, слушая гул мегафона. Всмотривалась в балкон, в занавешенные окна, не скользнёт ли по ним знакомая тень.

Градобоев пережил потрясение, преодолел взрыв, разорвавший на лохмотья его личность. Чудовищным усилием воли он собрал воедино разлетающуюся галактику, вернул на место все её планеты и звёзды. Снова стал её центром. Непокорённый, не сдавшийся, он продолжал сражаться. Был волнорезом, о который расшибался свирепый поток. Вспарывал волны, раздва-

ивал их, укрощал ревущую громаду. Он оставался непобеждённым борцом, идущим к победе через все поражения.

Градобоев не покинул особняк, сидел перед компьютером, набивая в блог послание к единомышленникам.

Он слышал под окнами невнятный гул голосов, вой полицейской сирены. Вошёл телохранитель Хуторянин, осторожный, вкрадчивый, зоркий, с той чуткой бдительностью, которая во всём подозревала опасность.

— Иван Александрович, перед входом собрался народ. И подходят всё новые люди. Ваши сторонники не согласны с итогами выборов. Готовы идти к Дому Правительства. Им надо что-то сказать.

— Правильно, народ не сдаётся! Народ имеет право на восстание! Я сейчас к ним спущусь.

— Мне кажется, Иван Александрович, не надо спускаться. Лучше выйдите к ним на балкон.

— Ещё лучше! В этом есть что-то революционное. Речь Ленина с балкона Кшесинской... Открывайте балкон, Семён Семёнович!

Хуторянин отбросил шторы. Стал открывать балкон. За зиму дверь балкона разбухла, приклеилась к косяку, и Хуторянин дёргал, приподнимал, прежде чем она открылась. В душную комнату пахнул весенний ветер, зашевелились на столе бумаги. Ворвался металлический гул мегафона, рокот толпы. Градобоев встал и, не набрасывая пальто, уверенно, широким шагом ступил на балкон.

Переулочек был полон бурлящих людей. Под фонарями виднелось множество лиц, плакатов, флагов. Вдалеке набережная Москвы-реки мерцала пролётными ночными огнями. В жёлтом зареве, огромный, в забрале и латах стоял великан, и у его ног слабо переливалась ночная вода.

Люди, увидев Градобоева, радостно взревели, выше воздели плакаты и флаги. Вдохновлённый этим приветственным рокотом, он, их вождь, их не сдавшийся лидер, был готов обратиться к ним с пламенными, зовущими в бой словами.

Он схватился руками за мокрую от дождя решётку балкона. Ветер развевал его волосы. Он набрал полную грудь холодного сладкого воздуха. Увидел в доме напротив, в чёрном приоткрытом окне слабую искру. Она увеличивалась, становилась ярче. Наливалась драгоценным светом, начинала сверкать, как волшебный бриллиант. Была упоительной, дивной звездой, озарявшей всю его жизнь. Божественной каплей росы, которую он увидел однажды ребёнком, стоя босыми ногами на влажном крыльце. Среди утренней сверкавшей росы глаза усмотрели сказочную росинку, которая переливалась альми, голубыми, золотыми огнями. А потом исчезла, и всю жизнь его глаза продолжали её искать. Чудная, как путеводная звезда, как несказанное чудо, она манила его. И теперь появилась, летела ему навстречу во всей своей божественной красоте. Ликуя, он ждал её приближения, и она входила в него, сливалась с ним, расцветала в нём, как сказочная радуга.

Пуля врезалась ему в лоб, просверлила лобную кость, рассекла и взрылила мозг и остановилась внутри, у костяного затылка. Градобоев качался, раскрыв руки, словно собираясь взлететь, а потом перегнулся чрез перила и рухнул на тротуар.

Толпа взвыла. Раздался женский визг. Елена видела, как тяжело падает Градобоев, ударяется с глухим стуком о землю. Вокруг него открылась пустота, блестящий от дождя асфальт, на котором лежало его большое распростиёртое тело.

Елена тихо ахнула, выбралась из толпы и, забыв, где оставила машину, заторопилась, слепо побежала среди размытых огней, не замечая, что кричит.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Чудесным майским днём состоялась инаугурация президента. Москва казалась умытой, озарённой, с изумрудом распустившихся лип, с пылающими на клумбах тюльпанами, с бурными фонтанами. Кортёж мчался по Кутузов-

скому проспекту. Пустой и ясный, проспект раскрывал просторную даль. Мотоциклисты, образуя клин, летели, брызгая хрустальными огнями. Мерседес нёсся, едва касаясь земли. В салоне за тёмными стёклами сидел Чегоданов. В его глазах переливалась перламутровая Москва. Она казалась безлюдной — не было на тротуарах толпы, исчезли автомобили. Только виднелись полицейские посты, и на крышах на мгновение возникали снайперы.

Это безлюдье волновало Чегоданова. Город принадлежал только ему, он был единственным его обитателем. И путь, который ему предстояло проделать, был той таинственной и грозной дорогой, которой двигались до него цари и вожди. Избранники судьбы, наделённые властью над огромной страной, которую им надлежало строить и взращивать, подавлять бунты, выигрывать войны, строить дворцы и храмы и, если будет угодно Богу, погибать в закоулках дворца или в пламени взрыва, или в чёрном расстрельном подвале.

Впереди возникла Триумфальная арка в своей ампирической красоте и величии. Кorteж промчался под сводами арки. Колесница на её вершине метнулась вслед за corteжем, и крылатые трубачи гремели победные гимны.

Кремль, торжественный, алый, воссиял куполами, белизной соборов, янтарным солнцем дворца. Чегоданов почувствовал на лице сладкое жжение, словно кто-то восхитительный поцеловал его глаза. Кремль ждал его, выбрав одного из бесчисленных претендентов, чтобы отворить перед ним врата. Впустить в священные чертоги, окружить волшебными силами, от которых воля обретает могущество, а дух соединяется с духом великой, непостижимой страны, с её таинственной небесной судьбой.

Кorteж промчался по набережной, вдоль алой стены, мимо солнечных сияющих вод. Василий Блаженный возник, как чудесный цветок, Чегоданов чуть заметно ему поклонился.

Под колёсами нежно рокотала брусчатка. Спасская башня сверкнула обручальным кольцом курантов. Кремлёвский дворец, как стена лучезарного солнца, предстал перед ним. Чегоданов шагнул из машины. Комендант Кремля отдал ему рапорт. Лёгким упругим шагом Чегоданов стал взлетать по ковровой дорожке среди мрамора, потоков света и певучего пеня фанфар, возвестивших его появление.

Перед ним гвардейцы в киверах и красных мундирах растворяли золочёные двери. Стремительный, лёгкий, почти невесомый, словно подхваченный счастливым порывом, он вошёл в Георгиевский зал. Тесно стояли государственные мужи, явившиеся славить своего президента. Генералы и директора военных заводов, главы академий и научных центров, великие артисты и богословы. Все аплодировали, тянули руки, надеясь на беглое касание, ловили ветер, поднятый его порывистым шагом.

Зал сиял белоснежным мрамором, золотые надписи славили подвиги гвардейских полков, батарей, экипажей. Он миновал Александровский зал с золотыми орлами, с торжественной геральдикой флагов. На возвышении стоял трон, накрытый горностаем, и казалось — над троном витает великая тень.

Андреевский зал огласился фанфарами и встал при его появлении. Патриарх и иерархи, министры, губернаторы и судьи, послы и иноземные гости — все ловили его взор, хотели угадать его мысли.

Он упруго взошёл на подиум, уверенный, лёгкий, с твёрдым светлым лицом, с чуть приподнятой головой. Перед ним, как Евангелие на аналое, лежал том Конституции в переплёте из кожи африканского зверя.

Судья в чёрной мантии, с пергаментным лицом монаха был готов принять от него присягу.

Чегоданов чувствовал, как трепещет воздух над *священной скрижалю*. Как сквозь арку окна падает на него с небес голубой прозрачный луч. И в этом луче звучит неслышная молвь, несётся божественное благословение, венчающее его на служение.

Он протянул руку, готовясь произнести слова присяги, сочтаться клятвой с народной судьбой, разделить с народом судьбу. Он чувствовал на своём темени прикосновение луча, прикосновение перста Божия, направлявшего его в русскую бесконечность. В этой бесконечности пленительно и волшебной силой звезда — звезда неизбежной Русской Победы.

— Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина...

И его рука, касаясь кожи африканского зверя, чуть заметно дрожала.

Инаугурацию по телевизору наблюдал Андрей Алексеевич Бекетов, который вновь поселился в провинциальном городке М., в “городе двух царств”. Крохотная квартирка выходила окнами на далёкие поля, в которых весна начертала прозрачные зелёные полосы. Из Москвы он привёз стопку книг и заветный “мамин цветок” в надежде, что, быть может, зимой, среди лютых морозов, мама вновь пришлёт ему подарок из райских садов, и он станет цвеловать белые соцветия.

Он много читал, много гулял, много молился. В монастырском храме среди редких прихожан выстаивал долгие службы, и его рассеянная мысль отвлечалась от песнопений и летела мимо синих дымов и алых лампад в таинственную бесконечность. Из этой бесконечности смотрели на него любимые лица, звали к себе, и он ещё долгие годы будет терпеливо ждать этой встречи.

Теперь он сидел в архиерейских палатах, у настоятеля отца Филиппа. Тот, глядя в оконце на негасимую зарю, говорил:

— Мы, я помню, Андрей Алексеевич, как-то говорили о том, что Россия — мученица. Наша мысль сводилась к тому, что Россия своими страданиями Богу угодна, и она через свои страдания укажет миру путь к Богу. Россия — миру спасение. Я с этим согласен. Вот только не вижу, как Россия, в которой, как вы говорите, поселился зверь, может стать миру спасением. Кто из нас, на ком грехи неотмолимые, может такое слово сказать, за которым мир пойдёт? Не вы и не я, не схимник, не президент, не художник. Все слова — как перезревшее яблоко: снаружи — румяное, а внутри — червяк. Червяк поселился в России и точит, точит, пока Россия ни упадёт. Как же она, тухлая, станет миру спасением?

— Не знаю, отец Филипп. Это мне не открылось. Я уповаю на чудо.

— И я уповаю, Андрей Алексеевич. Если рассуждать разумно и трезво, Россия погибла. Но если верить в Чудо, то Россия воскреснет. Я верю в Пасхальное чудо.

— Вы сами говорили, отец Филипп, со слов Афонских монахов, что Россию ждёт чудо Преображения: явится дивный царь, который спасёт Россию. Может, он уже здесь, среди нас, только мы об этом не ведаем?

— Я все вглядываюсь, но будущего царя куда не вижу.

Бекетов откланялся и, прежде чем вернуться домой, отправился на вечернюю прогулку. Городок, опушённый зеленью, казался нарядным, милым. Заборы и наличники были покрашены. В палисадниках земля была вскопана, и наружу лезли сочные стебли пионов. У калиток сидели старушки, шумели дети, и матери не могли их загнать домой.

Он шёл по улице Мира со щербатым асфальтом. Когда-то это была улица Сталина, а до этого — улица Троцкого, а изначально она была Воздвиженской, ибо вела за город, к Воздвиженской церкви. Среди домиков возвышался ампириный собор с колоннами, выстроенный в честь победы над Наполеоном. Он был обшарпан, в пятнах и строительных лесах, но купол в вечерних сумерках уже сиял позолотой.

Навстречу Бекетову попался часовщик — молчаливый сутулый мужчина, который раз в неделю карабкался на колокольню и заводил старинные часы. Они молча раскланялись.

В парке в распутившихся берёзах недвижно застыла заря. У оврага, полного фиолетовых сумерек, стояли два алебастровых оленя — памятник жителям, расстрелянным чекистами.

Бекетов прошёл через парк и вышел на улочку, тихую и безлюдную, с домиками, в которых кое-где уже светились оранжевые абажуры. Навстречу ему шёл мальчик. Худой, с нежной открытой шеей, с высоким лбом, на который спускалась светлая чёлочка. Что-то особенное показалось Бекетову в этом мальчике. Они поравнялись. Бекетов уступил дорогу и заметил, что синие глаза мальчика широко открыты, он тихо улыбается своим мыслям, не замечая ни Бекетова, ни высокой берёзы, ни разбитого тротуара, — словно идёт, не касаясь земли. Они разминулись, и Бекетов не мог понять, чем взволновал его этот случайно встреченный мальчик. Обернулся. Мальчик удалялся, и над его головой тихо золотился воздух.